

В. И. Кулешов

СЛАВЯНОФИЛЫ
И РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

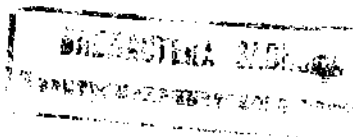
129742



Москва

• Художественная литература •

1976



12

83.3 P1

3 P1

K 90

Кулешов В. И.
K90 **Славянофилы и русская литература. М.,**
«Худож. лит.», 1976.

288 с.

Монография доктора филологических наук В. И. Кулешова посвящена литературному творчеству славянофилов. Автор устанавливает индивидуальные особенности и типологическую общность творчества А. С. Хомякова, И. В. и П. В. Киреевских, К. С. и И. С. Аксаковых и Ю. Ф. Самарина. В книге дается также оценка славянофилов в аспекте современной идеологической борьбы.

K $\frac{70202-147}{028(01)-76}$ 230-76

8 P1

Оформление художника
К. Высоцкой

K $\frac{70202-147}{028(01)-76}$ 230-76

Светлой памяти моего отца
Ивана Михайловича
КУЛЕШОВА

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СПОРЫ

Что такое славянофильство? В чем особенность славянофильской любви к России? Почему сами славянофилы и вслед за ними многие ученые и критики считали и сейчас считают славянофильство ярким и искренним проявлением русского гения? Почему славянофильские теории в той или иной форме противопоставляют тем духовным ценностям, которые были созданы революционными демократами, и их любви к России? В чем причина того, что интерес к славянофилам снова сегодня поднялся у нас? Почему разговор о славянофилах непременно перерастает в спор о славянофилах и всегда остается как бы нечто такое, о чем еще не dospорили?..

В начале нашего века известный историк К. Н. Бестужев-Рюмин («Бестужевские курсы») в патетическом тоне восклицал: «Стыд и срам русской земле, что до сих пор в Москве Собачья площадка (где жил Хомяков) не зовется Хомяковской и не стоит на ней его статуя. Хомяков! Да у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин»¹. Для Н. А. Бердяева было аксиомой: «Славянофилы, а не западники, би-

¹ Цит. по кн.: В. З. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков. Изд. 2-е, т. 2. Киев, 1913, с. 1.

лись над загадкой, что помыслил творец о России и какой путь уготовил ей»¹. Именно они были носителями «русской идеи», чувства провиденциальной роли России в истории человечества, которая как бы по-своему подтвердилась в катаклизмах XX века.

И сегодня в западных работах о славянофилах так или иначе утверждается их приоритет в постановке коренных вопросов русской исторической и духовной «самобытности».

Западнонемецкий ученый Э. Мюллер в книге «Русский интеллект в европейском кризисе» (1966) на всех поворотах истории общеевропейских духовных исканий 20—50-х годов прошлого века представителем русского «интеллекта» выдвигает Ивана Киреевского, причем сам «кризис» понимается им в категориях Киреевского как кризис гегелевского «рационализма», выход из которого возможен только в «синтезе» различных религиозно-философских учений². О других течениях русской мысли, более плодотворно искавших для России пути в будущее и участвовавших в общеевропейском философском движении, автор книги умалчивает. Иногда он лишь расплывчато упоминает об антагонистах славянофилов, о «западниках», сваливая по обычаю в одну кучу и Кавелина, и Грановского, и Герцена, и Белинского.

Американский ученый П. Христофф объясняет быстрый расцвет русской литературы после Крымской войны, когда она «превратилась в одну из богатейших в мире», тем обстоятельством, что Россия не пошла «по пути прозападнических химер и утопий»; источники нашлись в глубине ее собственной жизни, «в противовес

¹ Николай Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912, с. 247.

² См.: Eberhard Müller. Russischer Intellekt in europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij (1806—1856). Köln—Gras, 1966, S. 235, 237, 310, 325. В дальнейшем кратко — E. Müller.

неславянофильским интеллектуалам и пророкам»; славянофилы были первыми, которые почувствовали величие Пушкина и Гоголя, и «среди первых, которые способствовали талантливым русским современникам обратиться к национальной сокровищнице за вдохновением, содержанием и тематикой (subject matter)»¹. Правда, остаются неясными сами эти источники самобытности, дремавшие в пластах народной жизни: П. Христофф путано объясняет их, не раз подчеркивая, что ни одно из умственных течений в России не имело возможности обратиться прямо к народу, безграмотному, забитому, неспособному понять проблем, над которыми ломали головы интеллигенты всех направлений, и чуждавшемуся их². Тем самым как бы исключается самая возможность даже объективного представительства народных интересов в каком-либо из течений русской мысли. Тогда откуда же сила прозрений у славянофилов? Только слегка П. Христофф журит славянофилов за то, что они в своей самоуверенности недостаточно вдумывались в то, о чем писали Герцен и Белинский, и проглядели те условия, которые существовали в России для ненавистных им явлений — материализма и революции³.

Ценные сопоставления делает польский ученый А. Валицкий в книге «В кругу консервативной утопии» (1964). Славянофилы и западники рассматриваются как

¹ Peter K. Christoff. An Introduction to Nineteenth Century. Russian Slavophilism. A Study in Ideas, vol. 2, I. V. Kireevskij. Mouton. The Hague — Paris, 1972, p. 340—341. В дальнейшем везде кратко: P. Christoff. Цитаты из зарубежных изданий даются в нашем переводе. — В. К.

П. Христоффом задуманы четыре тома о славянофилах. Он в 1961 году выпустил монографию о Хомякове и намерен в будущем написать последние две части, о К. Аксакове и Ю. Самарине.

² См., например, высказывание П. Христоффа по этому вопросу в заключительной части его книги о Киреевском.

³ Там же, с. 331.

разновидности «двух утопий» (так названа у него целая глава), враждовавших между собой, но одинаково непрактичных, и обеих их давил николаевский пресс. Обе они, каждая по-своему, абстрактно представляли себе западные порядки, не сумев разобраться в их экономических тайнах, подлинной реальности. Между двумя утопиями было много общего: они одинаково критически относились к режиму в стране, политике «официальной народности», крепостному праву и европейскому капитализму. А. Валицкий пишет, что «именно утопичность определяла степень сближения обеих структур мировоззрения»¹. Однако не слишком ли абстрактная мерка взята А. Валицким для сближения двух борющихся политических течений? Славянофильство оказывается даже более устойчивым, чем западничество: последнее распалось к 1848 году, а славянофильство просуществовало в своем классическом виде до реформ 1861 года. И здесь чрезмерная отвлеченность рассуждений автора приводит его к невольному возвеличиванию в целом критически оцениваемой консервативной утопии славянофилов за счет западничества, представленного как нечто эфемерное и эклектичное. Но если на самом деле говорить о традициях западников, особенно таких, как Герцен и Белинский, боровшихся за новую, подлинно демократическую Россию, то эти традиции продолжали действовать в русской истории вплоть до 1917 года.

Как видим, к односторонней оценке славянофилов могут побуждать авторов различные причины: и исследовательское пристрастие к предмету изучения, нарушение историзма и классового подхода, некоторая абстрактность критериев. Бывает и прямая корысть, связанная

¹ Andrzej Walicki. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego sfowianofilstwa. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954, s. 363.

с идеологической борьбой. В любой самой благонамеренной западной работе о славянофилах так или иначе подспудно присутствует мысль: а что было бы с Россией, если бы она пошла по пути Хомякова и Ивана Киреевского? Отсюда интерес ко всем тонкостям их построений, некритический пересказ самых отвлеченных теорий.

В чем же причина новысвистывающегося интереса к славянофилам за последнее время?

Долгое время у нас многие деятели русской литературы и общественной мысли вовсе не изучались. Славянофилы вдруг приобрели обаяние новизны, неизведанности. Некоторые молодые литературные критики ухватились за славянофилов как за авторитеты подлинно русской мысли, носителей какой-то еще не учтенной «правды» о русской жизни (как и за Никона и Аввакума). Подкупала громко провозглашавшаяся самими славянофилами их «русскость», борьба за престиж всего русского. Несомненно, тут сказалась известная реакция на долгое замалчивание славянофилов и на шаблонное изучение их антагонистов, революционных демократов, на приевшееся, безвкусное, к делу и не к делу цитирование одних и тех же лиц.

Но правильный ориентир терялся молодыми критиками, они стали противопоставлять «свои» славянофильские хоругви «космополитическим» знаменам декабристов и демократов.

В памятной еще дискуссии о славянофилах на страницах «Вопросов литературы» (1969, №№ 5, 7, 10 и 12) рядом участников были подвергнуты критике эти искажения и преувеличения роли славянофилов в истории русской литературы и общественной мысли, их идеализация.

Нет нужды бросаться из нигилизма в апологетику. Это крайности, мешающие изучению явления по суще-

ству. Были ведь в советской науке прецеденты правильного, трезвого подхода к вопросу.

Академик Н. Державин в 1939 году в статье «Герцен и славянофилы» заявлял: «...Мне неизвестно ни одной (послереволюционной.— В. К.) специальной работы по славянофильству, хотя тема эта, несомненно, заслуживает самого серьезного внимания»¹. Державин обстоятельно осветил вопрос о взаимоотношениях Герцена и славянофилов,— этот аспект позволял войти в существо самых важных проблем,— и поставил задачу определения классовых позиций славянофилов. Он рассматривал славянофилов как «группу националистически настроенной либеральной буржуазии». Заметим предварительно, что такое определение вряд ли правильно.

Поворотным пунктом в изучении советскими учеными интересующей нас темы явилась статья С. С. Дмитриева «Славянофилы и славянофильство», представляющая собой обработанный доклад автора, прочитанный им на заседании сектора истории СССР Института истории АН СССР и напечатанный затем в первом номере журнала «Историк-марксист» за 1941 год. Автор поставил самые важные вопросы современного изучения славянофильства, проанализировал состав этого движения, указав на главных и второстепенных деятелей, наметил периодизацию, исследовал программу, теорию славянофилов, их отношение к реформе, попытался дать классовое определение этому движению. С. С. Дмитриев первым из советских исследователей заговорил об относительной прогрессивности отдельных сторон идеологии славянофильства. Он считает, что славянофилы — в своих субъективных намерениях — «партия помещичья», но объективно они выступали за «прусский путь» капитализации России. Не являясь «идеологией русской буржуазии», славянофильство 40—50-х годов в

¹ «Историк-марксист», 1939, № 1, с. 125.

итоге оказалось солидарно с либерально-буржуазными теориями. Следует признать, однако, что С. С. Дмитриев все же сбивчиво освещает важные вопросы. Если славянофилы объективно за «прусский» путь, то они — относительно прогрессивное явление. Но в то же время С. С. Дмитриев в целом называет их консерваторами на практике (то есть «объективно»), сближавшимися с «официальной народностью». Автор статьи слишком преувеличивает буржуазность славянофилов, он упускает из виду другие аспекты проблемы, например, важные для нас — отношение славянофилов к художественному реализму, литературно-критическому движению.

Доклад С. С. Дмитриева вызвал в свое время оживленную дискуссию, материалы которой были опубликованы в том же номере «Историка-марксиста», где появилась и его статья¹.

Через десять лет А. Г. Дементьев в своих очерках по истории русской журналистики тщательно описал и исследовал славянофильскую журналистику: «Москвитянина», «Московские сборники», «Русскую беседу», га-

¹ Участники дискуссии отмечали смелость и новизну постановки вопроса о славянофилах С. С. Дмитриевым, некоторые из них соглашались с основными выводами автора об относительной прогрессивности отдельных сторон в воззрениях славянофилов: требование отмены крепостного права, свободы слова, гласности суда, созывов земских соборов, развития промышленности (Е. А. Морозов, Б. Е. Сыроечковский, А. В. Шестаков). Но большинство при этом считало, что автор преувеличил прогрессивные моменты в славянофильской идеологии. Б. Б. Кофенгауз оспаривал утверждение, будто славянофилы стояли за суверенитет народа и отстаивали народное представительство; Н. М. Дружинин и др. упрекали С. С. Дмитриева за то, что тот рассматривал идеологию славянофилов в отрыве от идейной борьбы 40-х годов. Другие оппоненты указывали на необоснованность попытки сопоставления славянофильства с идеями феодально-христианского социализма на Западе: славянофильская критика капитализма не приобретала столь определенно социалистическо-утопического характера, она не учитывала рабочее движение (М. В. Нецкина и др.).

зеты «Молва», «Парус», «День». Для нас в данном случае особенно важны общие выводы автора: он определяет славянофильство как разновидность реакционно-националистического романтизма, близкого к «официальной народности». А. Г. Дементьев считает, что славянофильство — это «дворянская реакция на развитие капитализма и освободительного движения»¹. Как видим, славянофильство здесь рассматривается не в замкнутом кругу своих внутренних проблем, а в широком сопоставлении с освободительным движением. Отсюда и несколько отличные от других исследователей классовые оценки славянофильства у А. Г. Дементьева. Он считает, что славянофилы не были сторонниками буржуазного прогресса, а, наоборот, «стремились увековечить основы существующего общественно-политического строя, приспособив к нему некоторые стороны капиталистического прогресса» (без «язвы пролетариатства»). А. Г. Дементьев решительно отказался от сближения славянофилов с мелкобуржуазным утопическим социализмом: теория славянофильства выросла в борьбе с социализмом и коммунизмом. Основное определение А. Г. Дементьева следующее: славянофилы — либерально-дворянское движение. Думается, оно единственно правильное. От реакционного дворянства они отличались требованием ослабления гнета и улучшения общественного строя. Но этот «либерализм» не сливался с буржуазным либерализмом, отсюда отрицательные отношения славянофилов к критическому реализму в литературе и всему «западному».

При этом надо иметь в виду следующее: либерализм в разное время и у разных групп и лиц имеет различный характер. В 40—50-х годах XIX века, когда на арену еще не выступили крестьянские массы и была

¹ А. Г. Дементьев. Очерки по истории русской журналистики 1840—1850-х гг. М., Гослитиздат, 1951, с. 355.

слаба революционная демократия, либерализм мог проявлять, хотя бы в некоторых выступлениях и мотивах, большую смелость, несомненную искренность, субъективное благородство и соприкасаться с демократией и подлинным патриотизмом и народолюбием. Грановский — не Кавелин, Тургенев — вовсе не предшественник «веховцев», но и Хомяков — не Бердяев и Константин Аксаков — не Константин Леонтьев.

Это простейшее и очевиднейшее обстоятельство далеко не всегда учитывается исследователями в должной мере. В. И. Ленин в статье «О «Вехах» писал: «Либерал сочувствовал демократии, пока демократия не приводила в движение настоящих масс... Либерал отвернулся от демократии, когда она втянула массы, начавшие осуществлять *свои* задачи, отстаивать *свои* интересы»¹. Думается, в этих словах ключ к славянофильству 40—50-х годов и к его повороту в 60-х годах («День» Ивана Аксакова) в сторону реакции.

Славянофилы критиковали крепостничество, бюрократию и чиновничество, аристократию и светское общество, они боролись за свободу мнений и слова. Но как патриархалы и утописты.

В области изучения славянофильства нас обступают вопросы и вопросы. Следует признать за непреложный факт, что славянофильство как явление русской общественной жизни 40—50-х годов XIX века изучено еще недостаточно. Нет даже сводной картины всех его разветвлений. Славянофилы были философами, историками, литераторами, журналистами, публицистами, богословами, лингвистами. Особой областью их деятельности являлись межславянские общения, контакты с учеными Чехии, Польши, Болгарии, Сербии, представляющие определенную ценность.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, с. 170, 171.

При исследовании любой из сторон деятельности славянофилов так или иначе приходится касаться и других ее сторон, хотя они неравноценны по своему значению. Охватить их все одному исследователю очень трудно. П. Христофф, например, отказывается от выяснения генезиса славянофильских идей, их прецедентов в истории русской мысли. Э. Мюллер специально погружается в богословские проблемы, но слабее у него раскрыты другие.

Отчасти именно потому, что характеристика идей славянофилов не охватывает всех областей их проявления, в спорах всегда остается ощущение чего-то недосказанного: на аргумент из области философии приводится аргумент из области богословия, а на аргумент из литературной критики приводится аргумент из области исторических воззрений славянофилов. Помимо того, славянофилы были крайне противоречивы в своих взглядах и сами спорили друг с другом.

Главная же причина «недоспоренности» всех споров о славянофилах в следующем.

Многие идеи и настроения славянофилов возникали в процессе диалектического раздвоения таких начал, из которых вырастали также и идеи и настроения декабристов и демократов. Только на последующих стадиях особенно отчетливо обнаруживалось, что у славянофилов складывался в конечном счете иной вариант решения возникавших отсюда проблем, по сравнению с декабристами и демократами.

Формулу «у нас нет литературы» первым произнес декабрист Александр Бестужев (1825), потом Иван Киреевский (1830), позднее долго развивал в своих статьях Белинский (с 1834 г.). Есть сходство и различия в толковании формулы о раздвоении всего уклада в России на «народ» и «общество» вследствие реформ Петра I у Константина Аксакова и Белинского. Об определении «субстанции» русского народа хлопотали все русские

«шеллингианцы», славянофилы и западники, но вкладывали в это понятие различный смысл. Это тоже обнаружилось не сразу. Славянофилы, несомненно, упреждали западников в своем пристальном внимании к русской сельской общине. Но смысл апофеоза общины получился со временем резко противоположный. Для славянофилов община — оплот патриархальщины, смирения народа, для Герцена община в преобразованном виде — источник социалистических инстинктов и навыков для крестьян.

Уловить каждый раз эту разграничительную черту очень трудно, если берутся для сравнения промежуточные стадии формирования учений и доктрин и сами мыслители допускают противоречия и непоследовательность в их разработке.

В предлагаемой книге нас интересует деятельность главных славянофилов — А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, П. В. Киреевского, К. С. Аксакова, И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина как писателей, их поэтическое творчество, их место в русской литературе и критике. Эту сторону наследства славянофилов обычно обходили самые шумные дискуссии последних лет, от нее отказываются авторы самых объемистых исследований о славянофилах¹.

Некоторое уничтожение славянофилов-литераторов вряд ли оправдано. Их стихотворения не читаются артистами публично, в хрестоматии их почти не включают. Даже на филологических факультетах славянофилов-писателей специально не изучают. А между тем многие стихотворения славянофилов были в свое время

¹ Мельком касается поэтического творчества Хомякова автор большого дореволюционного труда о нем В. З. Завитневич. П. Христофф пишет, что он уклоняется от рассмотрения взаимоотношений между славянофильством и русской литературой XIX века; P. Christoff, vol. 1, A. S. Chomjakov. Mouton — S.-Gravenhage, 1961, p. 10.

очень известны и сейчас могут считаться стоящими на уровне классики, например стихотворения Хомякова: «Киев», «России», «Беззвездная полночь дышала прохладой...», «Звезды», «Подвиг есть и в сраженьи...» и др. Отдельные стихотворения славянофилов положительно оценивались Некрасовым, Чернышевским, Шевченко. Имена славянофилов встречаются почти во всех полемиках 40—50-х годов¹. Так или иначе с их творчеством соприкасались в свое время Гоголь, Достоевский, Щедрин, Л. Толстой. Назрела необходимость в многоаспектном изучении литературного творчества славянофилов как закономерного явления эпохи. Надо изучить его генезис, организационные формы, проблема-

¹ О славянофилах-поэтах имеется ряд ценных очерков советских литературоведов, преимущественно в виде предисловий к изданиям большой серии «Библиотеки поэта». Обстоятельно прокомментированы их отдельные стихотворения в текстологическом и историко-литературном плане. См. статьи и комментарии А. Г. Деметьева и Е. С. Калмановского в изд.: Иван Аксаков. Стихотворения и поэмы. Л., 1960; С. И. Машинского в изд.: «Поэты кружка Н. В. Станкевича» (раздел о К. С. Аксакове). М.—Л., 1964; Б. Ф. Егорова в изд.: А. С. Хомяков. Стихотворения и драмы. Л., 1969. О близком славянофиле Н. М. Языкове имеется статья К. К. Бухмейера в изд.: Н. М. Языков. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1964. Можно рассматривать в качестве одной из первых попыток дать обобщенную картину славянофильского творчества нашу статью «Славянофилы и романтизм» в сб. «К истории русского романтизма». М., «Наука», 1973. Литературно-критические взгляды славянофилов рассмотрены Н. Г. Сладкевичем в соответствующей главе в изд. «История русской критики», т. 1, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, а также в нашей работе «История русской критики». М., «Просвещение», 1972; о литературно-эстетических взглядах раннего И. В. Киреевского см. в кн.: Ю. М а н и. Русская философская эстетика. 1820—1830-е годы. М., «Искусство», 1969. О фольклористической деятельности славянофилов, проливающей свет на их поэтическое творчество, см. монографию: А. Д. Со й м о н о в. И. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., «Наука», 1971 (а также материалы в 79 томе «Литературного наследства». М., «Наука», 1968).

тику, жанровое своеобразие, связи с другими течениями в русской литературе, влияние его на последующий литературный процесс.

Конечно, поэтическое творчество славянофилов полно противоречий и общая ценность его невелика. И все же пора в нем разобраться, поистине непредвзято с исторической и классовой точки зрения. Особенно важен «классический» период славянофильства, т. е. 40—50-е годы.

129742

129742

СЛАВЯНОФИЛЫ КАК ОНИ ЕСТЬ

Все участники этого движения избегали называть себя «славянофилами» из принципиальных соображений. Они знали, что этот термин ввел во всеобщее употребление их идейный противник Белинский, и, как им казалось, термин неточно выражает сущность их учения. Только с середины 50-х годов славянофилы «смирлись» и не стали противиться общепринятому словупотреблению.

Белинский в печати впервые употребил термин «славянофилы» в статье «Русская литература в 1843 году», то есть в январском номере «Отечественных записок» за 1844 год. Вот цитата из его статьи: «У нас есть поборники европеизма, есть славянофилы и др. Их называют литературными партиями»¹. До этого критик обходился другими обозначениями славянофильской партии: «рас-

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 72. Н. П. Барсуков ошибочно относит ввод Белинским этого термина во всеобщее употребление к 1842 году (см.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. V. СПб., 1892, с. 466). В 1842 году Белинский только один раз употребил это слово в письме к В. П. Боткину от 9—10 декабря, и, конечно, тогда никто, кроме адресата, об этом не знал. Видимо, не пошло оно и от Герцена, употребившего его независимо от Белинского один раз в своем дневнике, в записи от 29 июля 1842 года.

кольники», «староверы»¹. Но Белинский не выдумал этот термин, он взял его из эпохи борьбы карамзинистов с шишковистами, из стихотворения Батюшкова «Видение на берегах Леты» (1809), где кипящий в реке забвения бездарный стихотворец, приверженец церковной славящины, восклицает: «Я есмь зело Славенофил». Оно встречается в «Опасном соседе» В. Л. Пушкина, в басне А. Е. Измайлова «Дядя и племянник — славенофилы», в литературном обозрении А. Ф. Мерзлякова за 1812 год в тех же значениях: противники нововведений, варяго-россы. В этом смысле слово «славянофил» употребил и Белинский в 1844 году, обозначая им современных ему шишковистов, людей отсталых вкусов. Значительно позднее, видимо, передавая салонные разговоры 40—50-х годов, неудовольствие введенным термином выразил славянофил А. И. Кошелев: следовало бы, писал он, точнее называть нас «туземниками» или «самобытниками», хотя и эти клички не вполне бы нас «характеризовали»². «Русофилами» не хотели называться: слишком официозно. Всякий термин, как известно, хромает. Но термин «туземники» был бы, пожалуй, совсем неудачным: ведь не все в своей земле одобряли славянофилы. «Самобытники» — лучше: тут передается нечто важное в учении славянофилов, ратовавших за сохранение и развитие своеобразных сторон русской культуры, русской «души». Но поскольку они славянам приписывали некую всемирно-историческую и даже спасительную роль по отношению к остальному человечеству, то слово с частицей «фил»

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, с. 289 и др. Интересные сведения о происхождении термина «славянофилы» см. в работе Ю. С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века» (М.—Л., «Наука», 1965, с. 321—324).

² См.: «Записки Александра Ивановича Кошелева (1812—1833 годы)». Берлин, 1884, с. 78.

оказывалось весьма на месте: оно обозначало пристрастие к славянам, переходящее в крайность своего рода. Таким образом, введенный Белинским термин «славянофилы», сначала с ироническим¹ оттенком, потом в понятийно-серьезном значении, отражал наибольшее число аспектов проблемы. И, видимо, поэтому этот термин «победил».

Славянофильское движение имеет свою периодизацию. Его предыстория охватывает 1827—1839 годы с первых попыток части дворян, сразу же после поражения декабристов, осознать свою особенную позицию в литературе (письмо Ивана Киреевского к А. И. Кошелеву от августа—сентября 1827 г.) до записок Хомякова «О старом и новом» и Ивана Киреевского «В ответ А. С. Хомякову», появившихся в 1839 году, в которых была сформулирована четко и полно в своих основах славянофильская доктрина; обе записки не были напечатаны, но они оживленно обсуждались в московских салонах и воспринимались как программные документы. С 1840 по 1847 год славянофильство оформляется как идеологическое течение, ведет на страницах журнала М. П. Погодина и С. П. Шевырева «Москвитинин» (с 1841 г.) и затем в собственных «Московских сборниках» на 1846 и 1847 годы пропаганду своих идей и полемику с Белинским и «натуральной школой». В 1848—1854 годы славянофильство, как и вся русская литература и другие идеологические течения в России,

¹ Этот иронический оттенок тут же был подхвачен Н. А. Некрасовым в краткой специальной заметке, как бы из жанра уличных городских «физиологий», под названием «Славянофил», помещенной им в альманахе «Первое апреля» в 1846 году. Странно вырядившегося в старорусскую одежду славянофила прохожие на улице принимают за «настранца». Белинский, в свою очередь, перепечатал некрасовскую ироническую зарисовку в своей рецензии на альманах «Первое апреля», появившейся в «Отечественных записках» (1846, № 3).

испытывает особенно тяжелое давление николаевской реакции. Изданный ими «Московский сборник» 1852 года подвергается гонениям властей, а следующие его выпуски вообще запрещаются. Однако с начала «эпохи гласности» и подготовки реформ в 1855—1861 годах славянофильство переживает, может быть, наибольший расцвет: издается журнал «Русская беседа», газеты «Молва», «Парус», «Москва», «День». Они надеются практически облегчить участь народа путем развития общинных начал, помощи пробуждающемуся славянскому миру. Но в 1856 году один за другим умирают братья Киреевские, в 1860 году Хомяков, а через год Константин Аксаков. Затем эпоха реформ наносит смертельный удар всем надеждам славянофилов, так как открылись пути капитализму в России, разлагавшему общинные устои, несшему с собой новые классовые противоречия. Славянофильство переживает агонию и, в деятельности Ивана Аксакова, Самарина, превращается в реакционный панславизм и в литературе и критике утрачивает почти всякое значение.

В особую себе заслугу славянофилы ставили, так сказать, живорожденность их кружка, возникшего незаметно для самих участников, «без всяких предвзятых мыслей и видов», на основе взаимной дружбы¹. Славянофилы любили делать выпады против «диктатуры» Белинского, якобы насильственно создавшего вокруг имени Гоголя «натуральную школу». Но известно, что прочие кружки — в Москве или в Петербурге — тоже создавались на основе не меньшей личной сердечной симпатии, преданности друг другу и долгу (кружок Герцена — Огарева, кружок Станкевича, общество петрашевцев). Славянофилы бравировали «средством душ».

¹ «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 68.

Когда Константин Аксаков защищал в 1847 году магистерскую диссертацию о Ломоносове, на поддержку ему во время торжественного акта в круглом зале Московского университета собралась почти вся «любезная славянская дружина»¹. И действительно, наиболее активную часть деятелей славянофильства — Хомякова, братьев Ивана и Петра Киреевских, братьев Константина и Ивана Аксаковых и Самарина — можно было назвать «дружиной»: так они единодушно и спаянно держались. Многие свои боевые манифесты они обсуждали сообща.

Славянофилы любили собираться у Хомякова, с 1844 года — в доме на Собачьей площадке. Это был, можно сказать, главный очаг славянофильства, где в специальной «говорильне», комнате, прокуренной дымом папирос, обставленной диванами по всем четырем стенам, спорили до утра. Как и всегда, над всеми царил сам Хомяков, главный зачинщик в спорах и оплот славянофильской школы².

Реже собирались в доме Аксаковых на Смоленской площади и в подмосковном Абрамцеве. Наиболее рьяными были Константин и вечно ему оппонирующий младший брат Иван. Сестра Вера разделяла страстные убеждения кружка. Об этом свидетельствует ее дневник. Иногда в споры вступал самый благоразумный из Аксаковых, старик Сергей Тимофеевич, писатель-реалист, друг Гоголя и Щепкина, не во всем согласный с убеждениями своих детей.

С осени 1843 года, по средам, собирались у Ивана Киреевского, по вторникам — у поэта Языкова, у престарелого Федора Глинки на Садовом кольце, близ Спасских казарм, — до 1844 года по понедельникам, собирались даже у «западника» Чаадаева, жившего во

¹ «Дневник Елисаветы Ивановны Поповой». СПб., 1911, с. 41.

² См.: «Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века», под ред. Н. Л. Бродского. М.—Л., 1930.

флигеле на Басманной, иногда у Н. Ф. Павлова, жена-того на поэтессе Каролине Яниш, чей богатый дом помещался на Рождественском бульваре.

Но особенно прославились два салона: Авдотьи Петровны Елагиной в Хоромном тупике у Красных ворот, где собирались по воскресеньям, и у красавицы Екатерины Александровны Свербеевой (в доме на Тверском бульваре), принимавшей по пятницам (А. И. Тургенев прозвал ее Рекамье-Свербеевой).

Об Авдотье Петровне Елагиной, по первому браку Киреевской, все мемуаристы (Т. П. Пассек, П. В. Анненков, П. И. Бартенев) оставили самые теплые воспоминания, рассказы. Поистине панегирик ей написал К. Д. Кавелин в связи с ее кончиной (1877)¹. Она была не только гостеприимной хозяйкой, но матерью двух братьев-славянофилов — Ивана и Петра Киреевских. Она дала им блестящее образование. Их наставником, привившим им патриотические чувства, был родственник Елагиной поэт Жуковский, живший в 1813—1815 годах в ее родовом имении Долбино под Белевом (ее бабушка М. Г. Бунина — жена А. И. Бунина, отца Жуковского). Перед тем в Белеве жила ее тетка Протасова с двумя дочерьми, одна из которых, Мария Андреевна, была возлюбленной Жуковского, воспетая им в стихах. А. П. Елагина была образованной женщиной, любила Расина, Руссо, Бернардена де Сент-Пьера, Сервантеса, Жан-Поля Рихтера.

Ее муж, Алексей Андреевич Елагин, также был образованным человеком, он привил детям интерес к немецкой романтической философии. Сам переводил любимого им Шеллинга. Он был участником войны 1812 года, заграничных походов русской армии, состоял в родстве с некоторыми семьями декабристов, знаком был

¹ К. Д. Кавелин. Авдотья Петровна Елагина.— Собр. соч., т. III. СПб., 1899, с. 1115—1132.

с Г. С. Батеньковым¹. Все это отразилось на широте салонных встреч у Елагиных: кто только из замечательных русских людей не перебивал у них!

Здесь бывали в свое время Пушкин, Вяземский, И. Дмитриев, продолжал быть завсегдатаем А. И. Тургенев, рассказывавший о своих бесчисленных связях и знакомствах в Европе. С 1829 года прижился здесь дерптский «бурш» поэт Н. М. Языков, внесший свой вклад в формирование славянофильских настроений. С середины 30-х годов состав гостей начал меняться. С 1838 года стал посещать салон Гоголь, который здесь читал первые главы своих «Мертвых душ». В подмос-

¹ Семейство Елагиных поддерживало связи с сосланным в Сибирь Г. С. Батеньковым (см. публикацию М. Гершензоном писем в «Русских прописях», т. 2. М., 1916, и в сб.: «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля», изд. Государственной Библиотеки им. В. И. Ленина, М., 1936). Приведем несколько неопубликованных свидетельств, характеризующих как Елагиных, так и Батенькова: эти материалы могут оказаться полезными для обстоятельного исследования чрезвычайно сложной специальной темы о противоречивых связях славянофилов с декабристами. В письме к И. Киреевскому из Томска от 3 июня (год не указан, но можно предположить, что 1852, так как в письме говорится о скором шестидесятилетии Батенькова, а он родился 23 марта 1793 г.) Батеньков припоминал прежние годы: «Из малолетних Елагиных никто меня лично помнить не может. Но вы с братом (то есть Иван и Петр Киреевские.— В. К.) были уже моими друзьями до эпизода смерти и воскресения, хотя неполного (так Батеньков называл свой арест и ссылку.— В. К.), но все же не гробового и безгласного. Эпизод, говорю, а не перерыв, ибо чувства мои к вам не умирали».— Центральный Гос. архив литературы и искусства (в дальнейшем сокращенно — ЦГАЛИ), ф. 236, оп. 1, ед. хр. 38. Батенькову не чужд был религиозный мистицизм, и славянофилы поддерживали в нем набожность. Мария Васильевна Киреевская (сестра Ивана и Петра Киреевских) в своем дневнике записала 5 сентября 1846 года о Батенькове: «...какое счастье бы было делять, ходить за ним! Теперь можно к нему писать, знать о состоянии его души, верно верующей!»— Гос. Библиотека СССР им. В. И. Ленина (в дальнейшем сокращенно — ЛБ), ф. Елагиных, № 25, ед. хр. 11.

ковном имени в Ильинском в 30-х годах Петр Киреевский приступил к записям народных песен. Именно в салоне Елагиных зимой 1839 года Хомяков впервые прочел свою полемическую записку «О старом и новом».

Из салона Елагиных вышли близкие славянофильству люди, на которых возлагались большие надежды: историк и статистик Дмитрий Валуев, историк, профессор университета А. Н. Попов, художник Э. А. Дмитриев-Мамонов. В 40-х годах здесь стали бывать юные Ю. Ф. Самарин, Константин Аксаков, а также «западники» Герцен, Огарев, Н. М. Сатин.

Славянофилы гордились еще и тем, что и близких к ним людей связывали родственные узы¹.

Славянофилы еще при жизни прослыли анекдотическими чудаками. Писарев называл Ивана Киреевского «русским Дон-Кихотом». Чтобы быть верным своему учению о превосходстве всего русского над иностранным, Хомяков и Константин Аксаков «боролись за русскую одежду» (С. А. Венгеров), рядились в зипуны и мурмолки, носили бороды, как крестьяне или допетровские бояре. Ведь и их антагонист, западник Чаадаев, всегда появлявшийся в салонах изысканно одетым, как денди, в ослепительно белом галстуке, по словам его племянника мемуариста, «искусство одеваться... возвел

¹ Мать Хомякова — Мария Алексеевна — урожденная Киреевская. Свербеевы были в свойстве с Елагиными, а поэтому и с Киреевскими вследствие брака Анны Александровны, сестры Екатерины Александровны Свербеевой, с Александром Ник. Елагиным, родственником Авдотьи Петровны. Хомяков был женат на сестре поэта Языкова, Екатерине Михайловне. А ее сестра была матерью Дм. Валусва. В родстве с Валусевым был Василий Алексеевич Павлов, издатель славянофильских сборников, а также родней он приходился Аксаковым, так как его сестра Екатерина Алексеевна была замужем за Николаем Тимофеевичем Аксаковым, братом писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. По женской линии Д. Н. Свербеев был троюродным братом Языковых и потому дядей Валусева. Родство росло и дальше: Иван Аксаков женился на дочери поэта Ф. И. Тютчева, близкого по настроениям славянофилам.

почти на степень исторического значения»¹. И разночинцы-демократы рядились под мужика во время «хождения в народ». И граф Лев Толстой «опрощался», ходил босиком и пахал. У серьезнейшего и трезвейшего из писателей Чернышевского в «Что делать?» радикал Рахметов слыл «особенным человеком» и для себя перенял манеры волжского богатыря, простолюдина Никитушки Ломова. Все это, конечно, по истокам и значению вещи разные, но, как видим, даже у всякого величия есть свои фарсовые стороны.

Главной фигурой славянофильского движения и его основателем был Алексей Степанович Хомяков. Так единодушно думали о нем его современники.

Хомяков был, конечно, самым образованным, самым умным и талантливым среди своих сподвижников. Он был очень импульсивен и живо откликался на современные события: на греческое, польское восстания, на перенесение праха Наполеона, болгарское, сербское освободительное движение, на деятельность чешских просветителей. Все обращения к славянам в стихах и манифестах принадлежали Хомякову или были им вдохновлены. Он высказывал свои убеждения ярко, вызывающе, полемично: «Мнение иностранцев об России» (1845), «Мнение русских об иностранцах» (1846). Он был менее односторонен, чем, например, Константин Аксаков, и старался совместить свои утопические построения с фактами истории, с опытом развития Запада («Письмо об Англии», 1848), с критикой уклада древней Руси (стихи «Не говорите: «То былое...», «России»).

Он поставил вопрос «О возможности русской художественной школы» (так называется одна из его статей 1847 года), теоретически обосновывал ее исходные начала в предисловии к собранию русских народных песен

¹ М. Жихарев. Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника.— «Вестник Европы», 1871, т. IV, № 7, с. 183.

Петра Киреевского (1852), в программной статье первого номера «Русской беседы» (1856), в речах в качестве председателя Общества любителей российской словесности при Московском университете.

Он был старшим по возрасту, шел из декабристского поколения, сотрудничал в «Полярной звезде», служил в армии, как и почти все молодые люди его времени. Но он во всем отличался от этого поколения: как-то не поддадал ни под один из известных тогда типов людей.

В этом отношении любопытны два архивных документа, которые не в полном составе, а лишь в выдержках и пересказах приведены в старой монографии В. З. Завитневича о Хомякове.

Эти документы — записи о молодости Хомякова, о начале его общественно-политического воспитания, о его отношении к декабристам. Эти материалы драгоценны, их важно процитировать полностью. Записи сделаны дочерью Хомякова Марией Алексеевной со слов его самого, еще при жизни, в третьем лице¹. Есть и еще одна неопубликованная запись, черновая.

В первом документе рассказывается следующее. «В начале 1815 года Степан Александрович Хомяков (отец.— В. К.) приехал из деревни в Петербург с двумя сыновьями, Федором и Алексеем. Последнему шел тогда 11-й год. Оба мальчика, наслушавшись военных рассказов, как все дети, мечтали, что они будут драться против Наполеона, так что им стало жалко, когда через несколько месяцев пришло известие о Ватерлооском деле. «С кем же ты теперь будешь драться?» — спросил старший брат младшего. «Буду бунтовать славян», — отвечал Алексей Степанович, сам теперь не умеющий объяснить, откуда ему пришла тогда такая идея. Он думает, что мысль о славянах и их освобождении внушена ему

¹ П. И. Бартенев частично использовал их в поминальной речи о Хомякове («Русская беседа», 1860, кн. 20, приложение, с. 31—34).

была лубочными портретами Кара Георгия¹, которые ему попадались почти на каждой станции по дороге из деревни в Петербург.

Через семь лет, зимою 1821 года, этот же мальчик вдруг вздумал бежать из родительского дома драться за греков и бунтовать славян. Тут было другое внешнее влияние. У них жил прежде гувернером некто Арбе, перешедший потом в дом к князю Маврокордато. Он сделался агентом филелленов, часто ездил к Хомяковым, рассказывал о греческом восстании и замечал, что бывший его воспитанник очень жадно слушает рассказы его, вошел с ним в ближайшие сношения и не задумался достать ему фальшивый паспорт. 17-летний Хомяков, взяв какие были у него деньги (50 рублей ассигнациями), запасшись засапожным ножом, в валяной шинелишке, ушел вечером из дому (на Кузнецком мосту, где магазин Люке) и уже добрался до Серпуховской заставы, но тут его настигла погоня из дому. Дело в том, что старый лакей Артемий возымел подозрение, что значит, что дитя долго не возвращается, и послал за барином в Английский клуб. Степан Александрович тотчас сделал допрос старшему сыну Федору и скоро вынудил признание о побеге брата. Посланы были люди ко всем заставам и привели назад молодца. Его мало бранили, но старшему брату за то, что допустил, досталось².

Этот документ позволяет понять мотивы патриотического воодушевления юного Хомякова.

А вот второй документ, показывающий резкое расхождение Хомякова с декабристами.

«В половине 1825 года, в Петербурге, на Васильевском острове,— записала Мария Алексеевна Хомяко-

¹ Этого Георгия Черного, как известно, позднее воспел А. С. Пушкин в «Песнях западных славян».

² Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (Москва) (в дальнейшем сокращенно — ГИМ), ф. 178, ед. хр. 1, л. 15 и об.

ва,— жило двое братьев Мухановых. Старший Александр Алексеевич, второй Николай (ныне почетный опекун в Москве). Оба они были люди военные. К ним нередко собиралась молодежь, и по обычаю того времени все они вольнодумничали. Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна — необходимость конституции и переворота посредством войска. События в Неаполе, подвиги Риго и составляли предметы разговоров. Посреди этих нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая незаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой.

Кн. Одоевскому (Александру Ивановичу.— В. К.) этот противник революции надоедал, уверял его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства.

Человек этот А. С. Хомяков. С тех пор и до сего дня он держится тех же мыслей. И правительство все-таки видит в нем революционера»¹.

Последняя фраза заслуживает внимания, она явно верноподданнического характера. Не написан ли этот документ о лояльности в 1854 году, за шесть лет до смерти, когда над Хомяковым нависла угроза высылки

¹ ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 16 и об.

из Москвы в связи с его стихотворением «России», в котором он клеймил «иго рабства», «черную неправду» в российских судах, незаконие?

Прочитируем и третий, еще не публиковавшийся архивный документ. Тут есть штрихи, свидетельствующие о том, что противник декабризма Хомяков сочувствовал участи этих людей и радовался их амнистии. «Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли после все декабристы. И он сам говорил, что, возможно, попал бы под следствие как знакомый и друг многих из них, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева (то есть не только у Мухановых.— В. К.) он бывал часто и горячо опровергал политические мнения и его и А. И. Одоевского, настаивая, что всякий военный бунт, революция сам по себе безнравственен».

С декабристами он оставался в отношениях дружбы во время их ссылки и радостно приветствовал их помилование при Александре II и видался с Н. И. Тургеневым, Батеньковым, кн. Волконским, Трубецким, гр. Вас. Толстым и другими и с их семьями. Дальше говорится о том, что с семьей декабриста П. Х. Граббе Хомяковы даже породнились, и Граббе часто вспоминал тепло о Хомякове. А в конце записи следует загадочная фраза: «Он (то есть Хомяков.— В. К.) успел сжечь все свои бумаги о сношениях с декабристами»¹. Загадочность фразы в следующем: когда именно Хомяков сжег компрометирующие его в чем-то бумаги, сколь они на самом деле были опасны?

Ясно, во всяком случае, главное. Хомяков в разгар декабристского движения, находясь в тесных контактах с его деятелями, спорил с декабристами, готовясь предложить иной путь для молодой России.

¹ ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 42 и об.

Еще при жизни Хомякова начал складываться некий культ его личности как вождя славянофильства.

В честь умершего Хомякова было проведено специальное заседание Общества любителей российской словесности с воспоминаниями о нем виднейших ученых и литераторов: М. П. Погодина, П. И. Бартенева, М. И. Лонгинова, А. Ф. Гильфердинга, Ю. Ф. Самарина и др. Воспоминания были немедленно напечатаны в «Русской беседе» (1860, кн. 20).

Прислушаемся внимательнее, за что хвалили Хомякова его поклонники. Хвалили за эрудицию. Кошелев перечисляет области интересов Хомякова: философия, богословие, история, механика, математика (окончил математический факультет Московского университета кандидатом), эстетика, политика, поэзия, публицистика, индоевропейские языки, санскрит, русская грамматика, археология, юриспруденция, крестьянский вопрос, агрономия, живопись (известен его автопортрет маслом 1842 года, оригинал висит в музее в Абрамцево, в Париже во время заграничной поездки он даже брался расписать церковь). Кроме того, Хомяков увлекался винокурением, сахароварением, гомеопатией, медициной (лечил своих крестьян от холеры); Хомяков изобрел машину с «сугубым давлением», которая экспонировалась на Лондонской выставке, изобрел особое тяжелое оружие из патриотического побуждения помочь обороне Севастополя, составлял планы земских банков, занимался охотой, знал все породы собак и лошадей, получил первый приз в обществе по меткой стрельбе, в молодости был храбрым офицером во время службы в Дунайской армии, был неутомимым рассказчиком, собеседником, читал наизусть целыми страницами в поллиниках Шекспира, Гете, Байрона, изучал мудрость Эдды, Буддийскую космогоню.

Бартенев видел особенное достоинство Хомякова в том, что он «был вполне крепок земле русской»; для

всех было аксиомой, что Хомяков — первый, кто пытался свергнуть рабство нашей мысли перед Западом, он возбуждал в русских сознание своих народных и общечеловеческих начал. И все же его друзья как-то темно писали о заслугах Хомякова: так ли уж он выступал за самобытность против подражания Западу? И что такое самобытность в столь туманном толковании? Или Кошелев писал: Хомяков указал на роль православия в развитии русского народа, провозгласил великое будущее России, связывал судьбу России с остальным славянством, а в крестьянах угадал задатки самобытности, и, не будучи сам либералом, никогда за либерализм не ругал других¹.

Каждый пункт, конечно, требует уточнения. Роль православия? В прошлом она известна. Но во времена Хомякова? Ведь эта идея кажется значительной только тому, кто сам уверовал, что православие — единственная основа русской жизни. Что значит — указал великое будущее России? О великом будущем писали и Герцен, и Белинский, но видели они его совсем в другом. Что касается забот о славянстве, то они у Хомякова во многом оказались родственны реакционному панславизму.

Видели или не видели другие деятели той эпохи слабые стороны Хомякова? Послушаем и западников. Оказывается, уже тогда многие относились к Хомякову крайне отрицательно.

Например, Белинский был опечален письмом Герцена, в котором тот расхваливал ум Хомякова, его искусство спорить. Белинский писал В. П. Боткину 6 февраля 1843 года по этому поводу: от герценовских слов «пошахивает» «умеренностью, благоразумием житейским», то есть филистерством, примиренчеством. «Он

¹ Все эти формулировки и высказывания имеются в материалах памяти Хомякова, напечатанных в «Русской беседе». См. также: «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 124 и др.

толкует, что г. Хомяков — удивительный человек, что он, правда, лежит по уши в грязи, но — видишь ты — и страдает от этого. А в чем выражается это страдание? В болтовне, в семинарских диспутах pro и contra» (за и против.— В. К.). Белинский потребовал определить содержание споров, а не самую технику спора ради спора. «Я знаю,— продолжал Белинский,— что Хомяков — человек не глупый, много читал и, вообще, образован: но мне было бы гадко его слышать, и он не надул бы меня своею диалектикою...»¹

Три крупных историка того времени, западника и «государственника», К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев и Б. Н. Чичерин оставили самые резкие характеристики Хомякова. Историки немало провели баталий со славянофилами по вопросу о том, что не семейное начало, а родовой быт, как и у других народов, определял в древности весь уклад русской жизни. Вопрос — принципиальный, так как он разрушал все идиллические построения славянофилов.

Соловьев явно в гротескном плане рисует портрет Хомякова, но вряд ли историка можно заподозрить в искажении истины: «Хомяков — низенький, сутуловатый, черный человечек, с длинными черными косматыми волосами, с цыганскою физиономиею, с дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою уверткою, ни перед какою ложью: выдумать факт, процитировать место писателя, которого никогда не бывало, Хомяков и на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей»².

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 130.

² «Записки С. М. Соловьева». — «Вестник Европы», 1907, кн. 5, с. 30.

Чичерин считал, что из своих знаний Хомяков делал удивительный винегрет; яркий спорщик, как Герцен, он уступал Герцену в «добросовестности», прибегал к «беззастенчивой софистике» и даже «легкомысленному шарлатанству», а иногда и с цинизмом, словно забыв прежде говоренное, отзывался о русском народе уничижительно: сей народ так инертен, что «не выдумал даже мышеловки»¹. Хомяков «больше сбивал, чем убеждал». Чичерин считал, что вообще славянофильство было делом «досужих московских бар, дилетантов в науке»².

Человеком совсем иного типа был другой вождь и теоретик славянофилов Иван Васильевич Киреевский. Он сделался славянофилом, выйдя из круга «архивных юношей», «любомудров». Трудно его представить вне кабинета, например, как Хомякова, на коне, с шашкой в руке.

И поэтического таланта у него не было³. Иван Киреевский был человеком философской складки ума и обладал незаурядным критическим талантом. Его

¹ Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов, т. 2. М., 1929, с. 225—229.

² О «дилетантизме» Хомякова и Ивана Киреевского прямо пишет П. Христофф, употребляя сам этот нелестный термин (см.: P. Christoff, v. 2, p. 334); о «компилятивности» очерка Хомякова по мировой истории, так называемой «Семирамиды», пишет критически Н. Рязановский, см.: Nicholas V. Riasanovsky. *Russland und der Westen. Die Lehre der Slawophilen. Studie über eine romantische Ideologie.* München. 1954, S. 66—67 и сл.

³ В 1827 году по совету кн. П. А. Вяземского он написал для салона Зинаиды Волконской рассказ со стихами «Царицынская ночь», весьма слабый. В нем отразились некоторые размышления автора о смысле жизни, напоминающие настроения героев унылых элегий Жуковского (место действия рассказа — недостроенный дворец, парк и пруды в Царицыне под Москвой). Потом он написал утопический рассказ «Остров» (1838), опубликованный почти через двадцать лет в «Русской беседе», в котором выражена мечта писателя об идеальном общественном устройстве; в литературном отношении — это слабое произведение.

статьи высоко ценил Пушкин. Можно определенно говорить о нем как об одном из предшественников Белинского в решении некоторых важных проблем истории русской литературы: в разработке ее периодизации, общем определении особенности творчества Пушкина как «поэта действительности». Интересны его статьи: «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828), «Обозрение русской словесности за 1829 год» (1830) и др.

Начав интенсивно свою литературно-критическую деятельность и вращаясь даже в кругах, где бывали Рылеев и Пущин, Киреевский с самого начала пошел другим путем.

В 1830 году Киреевский отправился за границу, где усердно изучал философию. В Берлине он лично познакомился с Гегелем, Гансом, Шлейермахером, Гуфландом, а в Мюнхене — с Шеллингом (там же слушал лекции и его брат Петр Киреевский). Через восемь месяцев Киреевский вернулся, зараженный «отрицательными» впечатлениями от заграницы. Но тогда он еще был полон симпатий к своему «второму отечеству», Западу. В 1832 году он начал издавать журнал «Европеец», он считал, что журнальные занятия оживят его деятельность: «...они окружили бы меня mit der Welt des europäischen wissenschaftlichen Lebens (атмосферой европейской научной жизни.— В. К.) и этому далекому миру дали бы надо мной силу и влияние близкой сущности». Он намеревался выписывать журналы на трех языках, «вникать в самые замечательные сочинения первых писателей теперешнего времени...», «я из своего кабинета сделал бы себе аудиторию Европейского университета... Русская литература вошла бы в него только как дополнение к Европейской...»¹. Он собирался говорить о Крылове, Карамзине, Жуковском, Пушкине,

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1911, с. 224.

Баратынском, Вяземском. Это были бы страницы, «не запачканные именем Булгарина». Однако журнал был закрыт властями на третьем номере. Киреевский был оставлен «в подозрении».

В статье «Девятнадцатый век», из-за которой был закрыт «Европеец», содержались идеи прославянофильского толка. Уже здесь затевался долгий разговор об «отношении» русского проовещения к просвещению остальной части Европы, о реформах Петра I, которые не были плодом «нашей внутренней жизни», а лишь «переломом», «внешним нововведением», о необходимости сближения религии с жизнью людей и народов, наконец, о коренных отличиях русской истории от европейской. Все колкости против «европеизма» с его суетным практицизмом напоминают приемы полемики будущего славянофильства.

После женитьбы И. Киреевский ушел в семейные и хозяйственные заботы и до 1845 года, оставив всякую общественную деятельность, жил в Долбине; Грановский и даже Погодин упрекали его в лености и апатии.

В 1845 году славянофилы решили оживить свою деятельность, и Киреевский стал редактором «Москвитинина», успел выпустить только первые три номера журнала. Неладья с Погодиным привели к отказу от редакторства. Знаменательной в журнале была статья Киреевского «Обозрение современного состояния литературы». Она была публичкой воспринята как литературный манифест славянофильства. И все же статья успеха не имела. При всей эрудиции автора, метких отдельных замечаниях по адресу меркантильности западной литературы и журналистики от статьи веяло какой-то схоластикой, отсутствием чувства реальности, доморощенностью применяемых критериев. Было в ней слишком много общих слов и заклинаний. Литературный процесс, выдающиеся произведения русской литературы не были проанализированы. Можно определенно считать,

что «Москвитянин» под редакцией Киреевского провалился, и причина этого не в стычках с Погодиным. Киреевский отрекался от былой программы «Европейца». Готовясь выступить перед публикой, он писал 28 января 1845 года Жуковскому: «...западная словесность не представляет ничего особенно властвующего над умами...»¹ Православные начала — духовные и умственные — должны найти сочувствие. В образованном обществе, жившем до сих пор на вере в Западные системы, христианские истины должны завоевать умы. «Отношение этого чистого христианского начала к так называемой образованности человеческой составляет теперь главный жизненный вопрос для всех мыслящих у нас людей...»² С таким кредо, уводящим читателей в дебри схоластики, журнал вести было нельзя.

Славянофилы взамен неудавшегося журнала стали выпускать отдельные сборники статей. Первый из них, «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных», вышел в 1845 году под редакцией Дмитрия Валуева. Затем вышли два «Московских литературных и ученых сборника» на 1846 и на 1847 годы. Но в них Киреевский не участвовал. Он принял участие только в «Московском сборнике» 1852 года. В нем Киреевский опубликовал статью «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Но по сравнению с прежней его статьей здесь ничего нового не имелось.

В самом конце жизни Киреевский разрабатывал чрезвычайно отвлеченную проблему «О необходимости и возможности новых начал для философии» (так называется его статья в журнале). Решение этой пробле-

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 1, с. 236.

² Там же, с. 237.

мы сводилось Киреевским к признанию спасительного значения «философии откровения», то есть по существу к полному отказу от философии. Проникнутый религиозным экстазом (об этом подробно рассказал Герцен в «Былом и думах»), Киреевский в последние годы стал очень религиозным, ездил к своему духовнику Оптинскому старцу Макарию и проводил с ним время в благочестивых беседах.

Можно согласиться с Кошелевым, сказавшим об Иване Киреевском: «Он был очень умен и даровит; но самобытности и самостоятельности было в нем мало...»¹.

Несколько в тени брата всегда у историков остается фигура Петра Васильевича Киреевского. Конечно, его вклад в теорию славянофильства скромнее. Но он вовсе не был чужд общему их делу, как иногда о нем говорят фольклористы (М. К. Азадовский, А. Д. Соймовонов и др.)².

Собирать народные песни Петр Киреевский начал еще с 1831 года. Можно сказать, все русские писатели приняли участие в составлении собрания Киреевского. Пушкин отдал ему свои записи. Ему подарили свои собрания Гоголь, Кольцов, Языков, А. Тургенев, П. Якушкин, Востоков, Шевырев, Кавелин, Жадовская, Писемский, Мельников-Печерский.

Первоначально главный интерес Киреевского вызывали исторические, любовные, свадебные, обрядовые, разбойничьи, солдатские песни, а позже — духовные стихи. В 1838 году Петр Киреевский вместе с Языковым опубликовал «Песенную прокламацию» в «Симбирских губернских ведомостях», в которой была высказана типичная для славянофилов теория понимания фоль-

¹ «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 73.

² Слишком искусственно отделяет от славянофилов Петра Киреевского и П. Христофф в указ. монографии об Иване Киреевском, см. с. 344.

клора. Киреевский считал песни «живой народной литературой». По вариантам он старался гипотетически восстановить архетип песни, никогда не существовавший. У него была типично славянофильская иллюзия относительно незабываемого, «целостного» народного творчества. Он скорбел о губительном влиянии городов, «промышленной деятельности», о нравственной порче прекрасной русской песни. В конце 30-х годов, когда созрело славянофильство, при помощи Языкова пополнилось именно собрание духовных стихов. Они и составили первую прижизненную публикацию Киреевского, появившуюся в 1848 году в «Чтениях общества истории и древностей». Это принципиальный момент, доказывающий приверженность Петра Киреевского славянофильству. Предисловие Хомякова к публикации стихов, согласованное в основных положениях с Киреевским, приобретало программное значение: оно провозглашало религиозность как исконную черту русского народа, он песнями хотел опровергнуть «чаадаевщину»¹.

После смерти Киреевского Хомяков и его друзья, отеснив от дела демократически настроенного П. Якушкина и передав права на подготовку издания идейно близкому им П. Бессонову, осуществили в десяти выпусках частичную публикацию остальной доли собрания (1860—1874).

Письмо Петра Киреевского к Погодину по поводу его труда «Параллель русской истории с историею западных европейских государств» было типично славянофильским, оспаривало варяжскую охранительную концепцию истории Руси².

¹ См.: М. К. Азадовский. Литература и фольклор. Л., 1938, с. 150.

² ЛБ, ф. Елагиных, № 11, ед. хр. 13. Вариант письма опубликован в «Москвитянке», 1845, № 3.

В сохранившейся в архиве полемической заметке Петра Киреевского о равенствах всех вер (он не признавал равенства) проводится типично славянофильская мысль: католики верят в непогрешимость папы, протестанты — общечеловеческого разума, православные же «в непогрешимость *соборной апостольской церкви*»¹. Это, конечно, по Киреевскому, и есть истинная вера. Рукою Кошелева записаны следующие мысли Петра Киреевского: «В чужеродных произведениях не может быть полноты национальной жизни», а что такое национальная жизнь? — она неуловима, но зиждется на «предании», подражание — это «безжизненность»² и проч. Перед нами «общие места» славянофильской доктрины.

Приверженность Петра Киреевского кастовой славянофильской школе ярко проявилась в его отношении к памфлету Языкова против западников «К ненашим» (1844). В домах Елагиных, Аксаковых не одобряли этих стихов. В них были выпады против Грановского, Чаадаева и Герцена. Но Петр Киреевский одобрил памфлет Языкова. В столкновении Грановского с Языковым из-за этих стихов, чуть ли не приведших к дуэли, которую, по словам Герцена, едва удалось предотвратить, Петр Киреевский стал на сторону Языкова.

По сравнению с братом, Петр Киреевский обладал более цельным и твердым характером. Он ближе по типу людей к Хомякову, чем к брату. Нужно поверить Герцену, который писал в «Былом и думах»: «Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в «православном славянизме...»³ В его угрюмом национализме было полное отчуждение всего западного. В отличие от своего брата, он не мирил религию с наукой, за-

¹ ЛБ, ф. Елагиных, № 11, ед. хр. 18.

² Там же, ед. хр. 17.

³ А. И. Герцен. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 160.

падную цивилизацию с московской народностью. Компромиссы он отвергал начисто.

Обратимся теперь к другому семейству, к Аксаковым. С голоса современников С. А. Венгеров назвал Константина Сергеевича Аксакова «передовым бойцом славянофильства». В каком же отношении можно было прослыть «передовым» после такого «бойца», как Хомяков? Единственно — темпераментом в борьбе и демонстративным разрывом с Белинским.

Тут важен именно раскол в поколении. К декабристам у Хомякова была с самого начала политическая неприязнь. С «любомудрами» будущие славянофилы дружили, особенно с Веневитиновым. Со многими либералами — западниками и даже с Герценом они находили общий язык до 1844 года. В 1842 году произошел раскол: друзья, какими долгое время были Аксаков и Белинский, во многом схожие по темпераменту, оба прошедшие в кружке Станкевича школу гегелевской диалектики¹, рассорились. Сражение произошло на страницах печати по поводу выхода в свет первого тома «Мертвых душ» Гоголя.

Новых идей по сравнению с Хомяковым и Иваном Киреевским Аксаков не вносил. Он умел общие положе-

¹ Хотя в целом, видимо, следует согласиться с Г. В. Плехановым (см. статью «М. П. Погодин и борьба классов»), что гегелевскую диалектику славянофилы в целом не постигли, все же К. С. Аксаков специально ею занимался. Он даже чувствовал свое превосходство над другими славянофилами в этом вопросе. В письме к родным, по-видимому, 1845 года, есть пометка: «Я нахожу время отдать раза два в неделю на Гегеля. Какая глубина! Его не вдруг узнаешь, на каждой странице глубже и глубже вникаешь в значение; я уверен, что он мало знаком настоящим образом нашим гегелистам, особливо таким звонким болтунам, как Хомяков» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 40). Это писалось, видимо, в разгар работы над магистерской диссертацией о Ломоносове, где в построениях автора чувствуется влияние гегелевской триады.

ния славянофильской доктрины популяризировать, заострять до парадоксов.

В глазах «своих» он был «Константином Великим», «почтенным и великим гражданином Москвы»¹. Рослый, с бородой и сильным голосом, в старорусской одежде и сапогах, разгуливал он по улицам Первопрестольной.

Незаурядный знаток русской грамматики², он писал, однако, с неуклюжими оборотами: его характер как бы мешал ровному стилю. Но говорил он страстно, интересно. В своем служении «чистоте знамен» он заходил так далеко, что руки не подавал тому, кто при нем хвалил Петербург, этот «позор России». Но и от «гнилых союзников» он опекал славянофильское движение.

Древняя Русь была для него идеалом благополучия, и он доходил до парадоксов в ее защите и славословии.

¹ «Дневник Елисаветы Ивановны Поповой», с. 10.

² Это, конечно, специальный вопрос. Укажем лишь, что В. В. Виноградов в работе «Русский язык» (посл. изд. 1972) отмечал множество заслуг К. С. Аксакова как автора рецензий на «Основания русской грамматики» Белинского (1839), статей «Несколько слов о нашем правописании» (1846), «О русских глаголах» (1855). Предложения Аксакова в толковании значения слов женского рода на «а» в передаче рода уточнили и углубили позднее Буслаев и Потемня. Его соображения о значении суффикса «ище» в словах среднего рода, выражающих странность, необыкновенность явления (чудище), а также о ласкательных, увеличительных или уничижительных образованиях, передающихся в русском языке не разными словами, а формами того же слова (домик, домище, домишко), поддержал Шахматов. Философское объяснение связей между предметом и качеством и его выражением в качественных прилагательных было позднее углублено Потемней и Пешковским. Г. Павский солидаризировался с Аксаковым в объяснении соотношения порядковых числительных с прилагательными. Дальнейшую разработку получили мысли Аксакова о грамматическом своеобразии множественного числа существительных, о связях между предлогами и падежами, о местоимениях, наречиях, о принципах залоговых различий в учении Фортунатова.

Он был в восторге от ее быта (его статья «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» напечатана в «Московском сборнике» 1852 года). В статье «Богатыри времен великого князя Владимира. По русским былинам» («Русская беседа», 1856, кн. 3) он возвеличивал новгородское вече и московских царей, якобы совещающихся с народом при решении важных дел. Он везде видел только согласие и любовь. Аксаков не допускал какой-либо критики Руси, считая, что она страданием и смирением искупила все грехи; он об этом говорил в полемическом послании Хомякову «Поэту-укорителю». Аксаков доказывал, что семейное начало лежит в основе государственного образования России, что есть особенное, характерное для всех классов «русское воззрение» на вещи (статья «О русском воззрении», 1856).

Только однажды Аксаков попытался построить русскую историю по гегелевской триаде. В диссертации «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1846) у него получалось так, что Петр Великий был закономерной антитезой отсталой Древней Руси. Это расходилось со славянофильской доктриной. У Аксакова был слишком отвлеченный ум, чтобы эффективно практически действовать. От него всегда можно было ожидать экстраординарного поступка, «необдуманного порыва патриотизма» (сокровенная формула в одном из цензурных дел той эпохи). Он считал, что столетний юбилей Московского университета в 1855 году власти до невозможности забюрократизировали. Уговорил друзей отметить дату по-сектантски, в узком кругу у Самарина.

На обеде в честь юбилея М. С. Щелкина в 1855 году он провозгласил в присутствии двухсот человек, среди которых были генералы от полиции Перфильев и попечитель Назимов, тост в честь «общественного мнения». В издаваемой им газете «Молва» в 1857 году он

вел довольно смелый разговор с публикой о готовящихся реформах и дразнил цензуру фразами вроде следующей: «Простой народ есть основание всего общественного здания страны». Он выступал против смертных казней, укорял за компромиссы в этом вопросе Жуковского.

Но в том же году мы видим его совсем в другой роли, и она также вытекала из его славянофильской сущности. С согласия своих друзей, после предварительного обсуждения, Аксаков подал через министра внутренних дел графа Д. П. Блудова на высочайшее имя (предназначалось это Николаю I, но за его смертью подано Александру II) «Записку о внутреннем состоянии России» (опубликована только в 1881 году в газете «Русь»). В записке предлагались меры по улучшению положения крестьян. Но все меры рассматривались с точки зрения спасения существующего строя, русский народ объявлялся якобы не заинтересованным в политике, охотно отдающим ее в руки властей; народ лишь хотел, чтобы к нему прислушивались и с его просьбами считались. Аксаков добровольно включил себя в число либеральных советчиков царя, чтобы все клапаны были открыты «сверху». Но власти по-прежнему косились на непрошенных и опасных мечтателей.

В предреформенную эпоху Аксаков оказался не у дел. Он переживал крушение своих иллюзий. Целиком ушел в грамматические штудии, сторонился «политики». После смерти отца в 1859 году он совсем впал в меланхолию. Прежде редко отлучавшийся из дома, он в 1860 году вдруг уехал за границу, на остров Занте. Через три недели Константина Аксакова не стало. Много намаялись его родные: мать, сестра Вера и брат Иван, препровождая останки на родину. Пришлось согласиться на вскрытие тела и бальзамирование, на отпевание не по чисто православным обрядам. А что стоили им

хлопоты со всеми пароходными и железнодорожными компаниями, чтоб везти гроб не в трюме, а на палубе, чтобы дали отдельный вагон для проезда через «чужие» города Триест и Вену и через «свои» Динабург и Петербург. «Боже мой, за что такое наказание... и над таким человеком!»¹ — восклицала Вера Аксакова. И вот второй раз отпевают Аксакова в Москве и погребают возле «отесеньки» в Симоновом монастыре. А время, история — увы! — и Симонов не сберегли! Останки еще раз перекочевали на кладбище Новодевичьего монастыря.

Младший из братьев Аксаковых, Иван Сергеевич, по словам одного из современников, был умнее Константина, дельнее и даже талантливее.

С этим, пожалуй, можно согласиться. Умнее — просто потому, что он не был заражен кружковым идеализмом и лучше знал жизнь как юрист, постоянно сталкивающийся с тем самым народом, который идеализировали его брат и другие славянофилы. И, пожалуй, талантливее. Стихи он писал не хуже Константина, и, так сказать, школа стиха у него была не традиционной, а новой, с использованием трехсложных размеров, как у Некрасова... Его стихи отражают раздумия не столько над доктриной, сколько над жизнью, можно сказать, над всей той повседневностью, которая — увы! — опровергла доктрину. Высокопарной драматургии в духе Хомякова и брата Константина он не создавал. Пробовал он себя в других жанрах. Поэма «Бродяга» (1852) содержит мотивы, предваряющие некрасовскую эпопею «Кому на Руси жить хорошо». Мистерия «Жизнь чиновника» (1843) и сцены «Присутственный день уголовной палаты» (1853) были под запретом в России, их опубли-

¹ См.: «Выдержки из «Дневника, писем и заметок Веры Сергеевны и Любови Сергеевны Аксаковых». В изд.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. II, т. 4. Приложение. СПб., 1896, с. 19.

ликовал за границей Герцен в сборниках «Русская поэтическая литература XIX столетия».

По окончании Петербургского училища правоведения (1842) он много ездил по России, служил в уголовном департаменте правительствующего сената, ревизовал Астраханскую губернию, служил в Калужской уголовной палате, в Министерстве внутренних дел, посетил Бессарабию по делам раскола, ревизовал Ярославскую губернию и здесь снова занимался делами раскола.

Белинский с ним встречался в Калуге в 1846 году, проездом на юг, и дважды отозвался о нем добрым словом. — «Славный юноша, — писал он Герцену. — Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом»¹. Анненкову он писал о личном благородстве Ивана Аксакова².

Чиновник Аксаков был не просто исправный, но и наблюдательный, язвительный. Он не был бойцом идеи. Он постоянно испытывал муки совести: «Недавно сидел я вечером в избе, — писал он родным в 1844 году, — где потолок был черен как уголь от проходящего в дыру дыма, где было жарко и молча сидело человек пять мужиков. Молодая хозяйка одна, с грустным выражением лица, беспрестанно поправляла лучинушку, и все смотрели на нас как-то странно. Мне было и совестно и тяжело. Это освещение в долгие зимние вечера, эта женщина безо всякой светлой радости, проводящая рабочую жизнь, и мы, столь чуждые им... Право, есть на каждом шагу в жизни над чем позадуматься, если несколько отвлечешь себя от нее...»³ И в другом письме он неожиданно отождествил славянофильский утопизм

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 296—297.

² Там же, с. 457.

³ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1. М., 1888, с. 44.

с западным утопизмом: «Я не разделяю мечты Константина, что можно нам, уже выскочившим из сферы чистой национальности, сочувствовать вполне народу. Я сошел бы с ума, если б мне пришлось жить постоянно с мужиком,—мысль, которую Константин развивает <...> есть Жорж-Зандовская утопия»¹.

Окончательно изверившись в благих намерениях начальства, потеряв вкус к службе, а также после допросов в III Отделении по поводу поэмы «Бродяга», Иван Аксаков в 1850 году подал в отставку.

Аксаков пошел добровольцем в ополчение во время Крымской войны. Но и тут его ждало разочарование: порядка нет, казну крадут. Не дошли до места, как Севастополь пал. Эпоха реформ несколько оживила деятельность Аксакова. Иван Аксаков, как и его друг Ю. Ф. Самарин и из старших А. И. Кошелев, превратились в добросовестных либеральных постепенцев, по мелочам подправлявших ход реформ. Их толки о «гласности», «повышении самосознания» лишь свидетельствовали о том, что славянофильство как движение выдыхается и сливается с либеральным — буржуазным западничеством.

Иван Аксаков участвовал в издании «Русской беседы», в 1858—1859-х годах редактировал ее. В 1859 году, после долгих хлопот, издал два номера газеты «Парус» как «центрального органа славянской мысли», но газета на третьем номере была запрещена. В 1861—1865 годах он издавал другую газету, «День», в которой уже обнаружились явно консервативные тенденции, перерождение славянофильства в реакционный панславизм. В 1880—1885 годах эта тенденция еще более усилилась в его газете «Русь». И все же у Ивана Аксакова время от времени происходили инциденты с властями, поскольку Аксаков не все одобрял в ходе земской

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1, с. 418.

реформы, в дипломатии царизма на Берлинском конгрессе, забывавшего об интересах южных славян.

Русско-турецкая война 1877—1878 годов показала славянофилам исполнением давних их чаяний об освобождении «православной» Русью болгар и сербов от гнета. В 1858—1878 годах Аксаков — один из руководителей Славянского благотворительного комитета. Видимо, в общекультурном плане эта деятельность имела относительно полезный характер. Комитет помогал многим славянам получить образование в России, выбиться из нужды¹. Но в политическом отношении эта деятельность комитета была двусмысленной, так как она маскировала панславистские устремления царских властей, мешала размежеванию классовых интересов в общеславянском движении. Например, в польском вопросе в 1863—1866 годах Иван Аксаков был на стороне правительства, сближался с Катковым и другими.

Ворчливый оппонент славянофильства на его подъеме в 40—50-х годах, Иван Аксаков на последующих стадиях оказался его ярчайшим представителем и продемонстрировал весь процесс его вырождения. Погруженный все больше и больше в атмосферу социальной демагогии, он превращался в мирного деятеля буржуазного прогресса пореформенной России.

В конце 30-х годов в интимный круг славянофилов вошел близкий приятель Константина Аксакова по университету Юрий Федорович Самарин.

Этот аристократ получил блестящее домашнее воспитание. В 1838 году он окончил Московский университет. Здесь, помимо лекций профессора Павлова, прививавших вкус к философскому мышлению и, в частности, к

¹ См.: С. А. Никитин. Балканские связи русской периодической печати 60-х годов XIX века. Ученые записки Института славяноведения. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948. Его же: Славянские съезды шестидесятых годов XIX века. Славянский сборник. М., изд. Гос. Библиотеки им. В. И. Ленина, 1948.

системе Шеллинга и его учеников, на Самарина большое впечатление произвели лекции Погодина. В 1844 году Самарин защитил магистерскую диссертацию о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, в которой явно стал на сторону противников петровских реформ, борцов против унижения церкви, за старые патриаршие права. В 1840—1844 годах Самарин постепенно делается приверженцем славянофильства. Преодолевает свое бывшее увлечение Гегелем, системой которого хотел «оправдать» православие. Самарин в воспоминаниях с благодарностью говорит о Хомякове, который помог ему вернуть себе «целостное» религиозное воззрение и привить вкус к богословским проблемам. Он редактировал брошюры Хомякова по этим вопросам, изданные за границей на французском языке.

Самарин усердно изучал памятники древности и старался доискаться до «коренных начал» русской жизни. Именно в этих поисках погибали его незаурядные способности. Стало знаменитым в биографии Самарина его письмо депутату французского парламента Ф. Могену, который в 1840 году посетил Москву и побывал у Самарина в имении. Самарин разъяснял депутату: «Какое-то чудное предчувствие, предназначавшейся для России исключительной, своеобразной будущности, предохранило русский народ от безусловного влияния народов Запада, которые, может быть, в свою очередь, предчувствовали в нем соперника, которому суждено в будущем превзойти их»¹. Теперь влияние Запада на Россию кончилось; там религия переживает кризис, а в России воссияло с новой силой и чистотой православие. Русский народ особенно любит монаршую власть, не скло-

¹ «Русский архив», 1880, кн. 2, с. 263—264. О поисках французских политиков, искавших альянса между бонапартистской Францией и николаевской Россией, см. материал в «Литературном наследстве», т. 31/32, М., 1937, с. 496—508.

нен к бунтам. В этом также залог его великого будущего. В подобных утверждениях Самарин и позднее был не оригинален и перепевал сказанное старшими славянофилами.

Для нас гораздо интереснее небольшая, чисто литературная часть наследия Самарина. Он был очень начитанным человеком. Как и его друзья по убеждениям, он поклонялся Гете и Шиллеру и, скорее, первому из них, более примирительно настроенному к действительности. Он советует Константину Аксакову прочитать сочинения Гегеля по эстетике, Баумгартена, книгу Шевырева «Теория поэзии», а также Гофмана («как я до сих пор мог не знать его») и повесть Шамиссо «Петер Шлемиль», видимо, симпатичных ему мотивами отрешенности западного человека от прозаической буржуазной действительности. Самарин обладал достаточно независимым умом: он ядовито отозвался в одном из писем о стихах Хомякова на перенесение праха Наполеона, в которых доказывалось, что Россия победила великого полководца не силою оружия и своего военного гения, а молитвой, крестом, смирением. Он критически отзывался о парадоксах Шевырева в оценке «Мертвых душ», вовсе отрицавшего наличие сатиры в этом произведении.

Самарин — типичнейший из молодых славянофилов, подхвативший знамя движения. Он был солидарен с идеями брошюры Константина Аксакова о «Мертвых душах». В полную силу он показал себя как славянофильский критик на страницах «Москвитянина» в 1847 году, когда выступил с резкой статьей «О мнениях «Современника», исторических и литературных». Это был выпад против последовательного органа «натуральной школы» и самой школы. Самарин оспаривал основные положения Белинского. Великий критик придал должное значение этому выпадку и написал свою статью «Ответ «Москвитянину». Таким образом, на какой-то

момент Самарин (подписавшийся под своей статьей криптонимом М... З... К...) оказался в центре борьбы литературных партий, как бы сменяя выдохшегося в полемике 1842 года своего друга Константина Аксакова. Но и позиции Самарина оказались разбитыми Белинским. Он высмеял эстетические претензии Самарина и ограждал от нападок молодые таланты «натуральной школы».

Дальнейшая деятельность Самарина для нас не представляет интереса. Он всецело ушел в служебные дела как чиновник министерства внутренних дел, работал в комитете по устройству быта лифляндских крестьян. В дальнейшем деятельно участвовал в комитетах по улучшению быта помещичьих крестьян. Он составил еще до реформы записку «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» (1851—1853). Затем он, как и А. И. Кошелев, стал одним из деятелей реформы 1861 года. Тут славянофильство его утратило специфические черты. В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (1901) писал, что в этом деле никакой уже разницы не было, скажем, между Кошелевым и Кавелиным¹, и можно добавить: также и между Самариным и любым либеральным ревнителем царской реформы.

Его славянофильские настроения ярко выразились еще в двух эпизодах. В «Письмах из Риги, поданных по начальству» (1849) он заявил о том, что в Прибалтийских губерниях немцы сильно утесняют русских, что все русское там оскорбляется. Это заявление вызвало неудовольствие немецко-остзейской партии и самого рижского генерал-губернатора: по высочайшему повелению Самарин был на двенадцать дней посажен в Петропавловскую крепость. Но потом его освободили, и после беседы с царем он был «прощен»: так всякое неудоволь-

¹ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, с. 31.

ствие в 1849 году, окрашенное к тому же в славянофильскую неприязнь к «немцам», под горячую руку каралось. Затем в «Русской беседе» 1856 года он выступил с двумя чисто славянофильскими статьями: «Два слова о народности в науке» и «О народном образовании», вызвавшими бурную полемику. Статьи перепевали уже не раз говоренное славянофилами: образование нужно, чтобы лучше понимать молитву, а народность науки вся строилась на доказательствах необходимости приверженности православной вере, на софизмах: всегда русский лучше поймет всякое дело, чем иностранец, ибо это предопределено в самой крови русского...

ВЕРОУЧЕНИЕ

Славянофильство как система воззрений возникло в 40-х годах XIX века на определенном этапе развития русской общественной мысли и литературы. Существенный толчок его формированию дало поражение восстания декабристов в 1825 году, Польского восстания в 1831 году, а также потрясения, вызванные французской революцией 1830 года.

Славянофилы хотели найти мирные пути решения общественных вопросов. Они отличались от охранителей желанием преобразований, но, начиная все свои мероприятия как крамольники, жаждущие перемен, славянофилы кончали как люди компромисса. Отсюда вечно двойственная, обманчивая позиция их во всех вопросах.

Как люди 30-х годов, они отличаются повышенным интересом к идеологии, активно строят свои концепции русской истории. Стремление после поражения декабристов сблизиться с народом, разгадать его неповторимость среди других народов им свойственно более всего. Но это нужно было им для того, чтобы подменить всякое активное революционное действие. Только в исходной точке исканий, пока речь шла в общетеоретическом смысле о необходимости определения исторической особенности русского народа, — будущие славянофилы занимались действительно великими вопросами. Ценны-

ми были и обоснования права русских и прочих славян на свое место в истории, на свою «самобытность». Эту особенность народа старались разгадать и Пушкин, и Герцен, и Белинский — и, каждый по-своему, находили ее в мужественном преодолении тех привычек и обычаев, которые привили ему крепостничество, самодержавие. Тут народная «самобытность» в конце концов смыкалась с тем делом преобразований, которое без народа, но для народа уже начали декабристы. Отсюда и активное стремление передовых писателей и мыслителей развить в литературе критический пафос. В рамках такого понимания «народной души» находили себе место и критические высказывания об отсталости, забитости народа; но они нисколько не снижали веры в его потенциальные силы.

Славянофилы же в ответе на вопрос, в чем самобытность народа и как она должна быть использована в решении его судеб, пошли своим, особым и в целом бесплодным путем.

Они нашли ее в «незапятнанных» источниках — в православии, «особом» развитии России, «непохожем» на западное развитие, в «природных», «органических» свойствах народа, его каком-то ясновидении своей исключительности, избранности. Самодержавие закрепило народ, унизило, исказило его «субстанцию». Но по-своему припугивая самодержавие и обвиняя его в деспотизме и «нерусском» поведении, небрежении всем родным и кровным, славянофилы старались отгородить русский народ от Запада, от революций, считая и восстание 1825 года плодом чужеродного влияния.

Ощутительным началом формирования собственно славянофильской идеологии является упоминавшееся письмо Ивана Киреевского к А. И. Кошелеву в 1827 году (август — сентябрь): «Я могу быть литератором, а содействовать просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать». Кирее-

евский хочет приобрести вес в литературе и уверяет: «Я буду иметь его и дам литературе свое направление». Какие важные, самоуверенные слова сказаны о возможном «своем» направлении! И оно обрисовывалось уже тогда в общих чертах как отталкивание от чужого и чуждого: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слова»¹.

Вдумаемся в каждое слово. «Истинная религия» — тут может быть два смысла: и как религия, не захватанная грязными руками официальной поповщины и спекуляциями властей, и в позднейшем, чисто славянофильском смысле: на первом месте во всех делах — религия, с нее начинается все, ей надо «возвратить» в общественном сознании потерянные в век Просвещения права. И «нравственность», и «чистота жизни», и «правда» — все в особом смысле, как антитеза извращенным понятиям предыдущей эпохи. А «глупый либерализм» — это уже прямой выпад против декабризма, который и надо заменить «уважением законов». Перед нами один из первых абрисов будущей программы славянофилов, ее политическая характеристика.

А вот другой аспект: здесь уже отгораживание от Запада. В следующем году, в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина», Иван Киреевский с удовлетворением отмечал, что время для появления русских Чайльд-Гарольдов еще не пришло: «...и дай бог, чтобы никогда не приходило»². Киреевский готов сознательно проглядеть некоторое сродство героев пушкинских поэм с байроническими героями, лишь бы соблюсти главное правило: поэт должен «отражать в себе жизнь своего народа»³.

¹ «Русский архив», 1906, № 12, с. 574.

² И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2, с. 11.

³ Там же, с. 13.

Такой прием вообще будет чрезвычайно характерным для славянофильской критики: она не анализировала то, что есть в жизни, а предписывала жизни «долженствования и нравственные законы». Киреевский принимал Пушкина, так как у него вслед за «итальянско-французским» (Лицей, «Руслан и Людмила») и «байроническим» периодами творчества («отголосок лиры Байрона», южные поэмы) наступил «русско-пушкинский» период («Евгений Онегин», «Годунов» и пр.). Как знаменательно это внешнее выгораживание «русского» в творчестве Пушкина.

Затем в статье «Обозрение русской словесности за 1829 год» Иван Киреевский подобную же концепцию изживания подражательности и построения всего «русского» провел применительно уже ко всей русской литературе: на смену «французско-карамзинскому» периоду и «германскому» периоду, отмеченному влиянием Жуковского, пришел вполне оригинальный — «русско-пушкинский» период.

С особенным упорством выдвигались славянофилами добродетели «чисто русского» взгляда на вещи: «какая-то правдивость мечты составляет оригинальность русского воображения». Киреевский все время вьется около самобытности, столь необходимой русской литературе, и, не умея ее определить, бросает одну за другой отвлеченные формулы, призванные хотя бы в негативном плане намекнуть на ее сущность. Так он заявлял, что «Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша философия должна развиться из нашей жизни...*»¹. Какой же должна быть «наша» философия, то есть самобытность мышления, об этом Киреевский не говорит ни слова.

А между тем, из немецкой философии, уже «вкоренившейся» в России и в сознании самого Киреевского,

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2, с. 27.

следовали чрезвычайно новые для России положения, которые обогащали методологию русской критики. Само понятие о «самобытности» было выдвинуто этой философией, начиная с Гердера и раннего Шеллинга. Иван Киреевский совершенно справедливо, в духе немецкого любомудрия, заявил, что критик должен стремиться «с высоты общей мысли обнять весь горизонт нашей словесности и указать настоящее место ее частным явлениям»¹. Об этом хлопотал и В. Ф. Одоевский в «Мнемозине». Выработке общей руководящей идеи в критике уделят много внимания позднее Надеждин и в особенности Белинский (учение о «пафосе» творчества). Из той же немецкой философии Киреевский почерпнул еще одно важное диалектическое положение: «...семена желанного будущего заключены в действительности настоящего»². Оно повышало в цене то, что есть в жизни, и таило в себе антиромантическое начало. Опираясь на него, Киреевский смог поставить вопрос о главном достоинстве Пушкина как «поэта действительности».

Но Киреевский сам то и дело изменял провозглашаемым правилам и торопился решать многие вопросы чисто субъективистски, исходя из желаемых идеалов, а не из «действительности настоящего». Чего, например, стоят в той же его статье такие излюбленные позднее славянофилами утверждения: европейские народы уже «изжили себя», влияние Англии и Германии не может быть «живительным», их внутренняя жизнь уже «совершила свой круг», есть только два «свежих» народа: русские и североамериканцы. В этом тезисе о русских уже таится будущее учение об особой роли России в судьбах человечества. Но все это «доказывается» Киреевским чисто внешним образом, без глубокого анализа «действитель-

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2, с. 19.

² Там же, с. 18.

ности настоящего»: просто говорится о «непочатости» сил, о некоем «нетронутом» еще «внутреннем единстве» народа.

Приведем выписку из статьи «Девятнадцатый век», из-за которой был закрыт «Европеец» (1832). В ней есть указанные схоластические построения. Триады в периодизации выстраиваются уже не применительно к творчеству Пушкина или русской литературе, а шире — к истории всего человечества. С 1789 года наступил «разрушительный период», потом период «контрреволюции», и теперь, то есть в 30-е годы, наступил период «мирительного соглашения», терпимости враждующих партий. Теперь поэзия сошлась с жизнью. В литературах Европы и в самом деле наступила эпоха реализма, «поэзии действительности». Но как это доказывается? Терпимостью враждующих партий. Это, конечно, не объяснение, а доброе лишь пожелание. «Мирительное соглашение» нужно Киреевскому для славянофильских построений, для той китайской стены, которую он хотел возвести между Россией и Европой, только что клоко-тавшей в революционном взрыве 1830—1831 годов. Киреевский задает вопрос, ответ на который уже заранее готовит: «Изнутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое или получать его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни?»¹ Ясно, что это начало — «изнутри»! Но ведь совсем недавно Россия получила просвещение из Европы, оно теперь уже стало нашим «внутри». Киреевский заявляет, что надо всячески отгородиться и от него. Естественно, возникают вопросы: разве изнутри эти заимствования не были приготовлены? И что за грех, если что-то пришло извне? Разве христианство, пришедшее из Византии, и книжность из Болгарии не были извне?

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 1, с. 96.

Киреевский, как это вообще свойственно славянофилам, брал эту проблему неполно. Он утверждал: у нас не было римского права, епископата, участия церкви в мирских делах, феодализма, рыцарства. У нас было другое: чистое христианство, без примеси язычества, у нас образовательное начало целиком заключается в нашей церкви. «Христианство восточное не знало ни этой борьбы веры против разума, ни этого торжества разума над верою»¹.

Как надо отнестись к такому заявлению? Согласуется ли оно с историей? Ведь Киреевский и не пытался проанализировать историю русской церкви. На идее всемогущего влияния этой самой «чистой» церкви Киреевский строил все здание «русского» просвещения и благополучия.

Но это не мешало славянофилам постоянно делать «займы» у западных теоретиков. Они внимательно смотрели даже на входившие в моду социалистические утопические системы и примеривали их к себе.

У наиболее радикальных из западников, прежде всего у Белинского, интерес к этим системам был естествен. Они рассматривали социализм как будущее, вырисовывающееся за плечами буржуазного общества, считая, что и России не миновать капиталистической стадии развития. Славянофилы же брали лишь абстрактную мечту о лучшем и критику буржуазных порядков, чтобы вовсе обойти эти порядки в России. Таким образом, обрабатывалась их «ретроспективная утопия».

Интересен отрывок из статьи Петра Киреевского о Сен-Симоне, относящийся, видимо, к началу 30-х годов и опубликованный только в наше время². Тут мы как

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 1, с. 114.

² Опубликован А. Д. Соймоновым в «Литературном наследстве», т. 79. М., 1968, с. 33—38, отчасти проанализирован в его книге «П. В. Киреевский и его собрание народных песен». Л., «Наука», 1971, с. 70—71.

бы присутствуем при первоначальных толчках зарождения утопизма славянофилов.

Не исключено, что этот отрывок читался в дружеском кругу. Компилируя статьи из немецких и английских журналов, Петр Киреевский цитирует автобиографию Сен-Симона, составляет до некоторой степени связанное изложение существа его учения.

Его подкупает главная идея Сен-Симона: побуждение к новому преобразованию Европы в духе единства. Совпадали его мысли с мыслями Сен-Симона о способности человеческого рода бесконечно совершенствоваться. Суть совершенствования, по Сен-Симону, «в сочетании и единстве личных выгод». Общинный дух таких построений улавливался весьма отчетливо. «Такое усовершенствование человечества может быть достигнуто только тогда, когда все покорится тому закону единства и братства, который теперь соединяет города и государства под властью одного правления». Надо только усовершенствовать само правление. Такой подход нисколько не подрывал монархических убеждений будущих славянофилов, старавшихся выступить советчиками перед властью и подсказать свои рецепты на основе «любви». Затем Киреевский излагает социалистическую часть сенсимонизма, не выражая к ней никаких открытых симпатий, но, видимо, полагая, что все это достижимо в русской общине. Сама же техника организации новых отношений его живо интересовала. Петр Киреевский впервые в России усваивал социалистические формулы, которые позднее сделались такими всемирно-известными и живыми в наши дни: уничтожение «эксплуатации человека человеком», распределение благ по правилу: «каждому человеку да будет по его способностям, каждой способности по ее делам».

Привлекали социалистические системы своими отдельными сторонами и других славянофилов. Ю. Самарин изучал книгу Лоренца фон Штейна «Социализм и

коммунизм в современной Франции» (Лейпциг, 1842) и обратил на нее внимание Хомякова. Самарин написал статью о Лоренце фон Штейне: его и Хомякова привлекало в ней противопоставление общества и государства, вопросы справедливой организации отношений между людьми¹.

Но в целом славянофилы враждебно относились к утопическому социализму, к русским сенсимонистам и фурьеристам 40-х годов. Они не принимали революционной ориентации петрашевцев. И прожектерская сторона их увлечений, «фаланстерийная гармония» враждебно воспринималась славянофилами. Славянофилы противопоставляли ей русскую общину, то есть одной утопии другую².

В письме к А. И. Кошелеву 6 июля 1833 г. Иван Киреевский обсуждал вопрос о воспитании женщин в славянофильском понимании, но тут же настаивал, чтобы эту эмансипацию никто никогда не спутал «с бессмысленным требованием сенсимонической эмансипации»³.

Они хотели построить свою, славянофильскую концепцию справедливого общества. В этом отношении любопытен упоминавшийся фрагмент Ивана Киреевского «Остров» (1838). Россия, по Киреевскому, интересна как уголок жизни универсальной христианской идеи, которая осуществляется по законам общины. Имея в виду Россию, Киреевский, однако, изображает Грецию, один из островов ее архипелага: на этом кусочке земли, изолированном от остального мира, с его индустриализмом, игрой честолюбия (упоминается Наполеон), учрежден особый жизненный порядок, который имела некогда древняя русская культура, и имела еще прежде того христианская Греция. Здесь органически прижи-

¹ См. об этом: P. Christoff, т. I, с. 88—89; т. II, с. 266—267.

² В этой части вполне можно согласиться с постановкой вопроса о «двух утопиях» в книге А. Валицкого.

³ И. В. Киреевский, Полн. собр. соч., т. 2, с. 227.

лись и сохранились языческие элементы, традиции прежней высокой культуры, нисколько не противоречащие новой вере. Тут идеально осуществилась связь античности и христианства, неизвестная корыстолюбивому Западу, где все эти элементы оказались врозь. Глубокая целостность характеризует жизнь на этом острове, она идеал и образец для остального человечества. Русская община — наиболее близкий современный вариант этой идеальной жизни¹.

Им было известно, например, рассуждение Ж.-Ж. Руссо в «Общественном договоре» о «рабском» пути русской истории, о «подражательном» гении Петра I, который «хотел из русоких сначала сделать немцев, англичан, тогда как нужно было начать с того, чтобы сделать их русскими. Он помешал своим подданным навсегда сделаться такими, какими бы они могли быть...»².

Славянофилы вообще сильно зависели от западных источников. Давно назрела задача собрать все эти сведения, накопленные в различных исследованиях о них.

Славянофилы многое восприняли от французских историков времен Реставрации. Как указывает Э. Мюллер: «Киреевский обязан Гизо в конструировании трехчленного принципа Европейской цивилизации»; эта цивилизация построена на: а) христианской религии, б) духе и культуре варваров, разрушивших Римскую империю, и в) на остатках античного мира³. Из «Истории Цивилизации в Европе» Ф. Гизо они заимствовали некоторые положения, чтобы доказать неповторимость русской цивилизации. Оба методологических принципа

¹ См. об этом: E. Müller, с. 325—327.

² Ж.-Ж. Руссо. Общественный договор. М., 1906, с. 33. На высказывание Руссо о русской истории обратил внимание еще историк А. Д. Градовский в лекциях «Первые славянофилы» (1873), см. его Собр. соч., т. VI. СПб., 1901, с. 179.

³ См.: E. Müller, с. 101.

Гизо: «в цивилизации различных европейских государств обнаруживается некоторое единство» и «эту цивилизацию нельзя искать в каком-либо одном европейском государстве» — были по-своему извращены и перетолкованы славянофилами. Они старались отгородить Россию от европейской общности и именно Россию выделить и возвеличить как силу, способную исправить пороки современной цивилизации.

Иногда славянофилам служили опорой ошибки и компромиссные допущения самого Гизо. Так, например, они «раздули» утверждение Гизо о том, что всегда и везде религия принимала большое участие в цивилизации народов. Они превратили религию в краеугольный камень всей своей концепции истории России. А положение Гизо о том, что европейская цивилизация приближается, если можно так выразиться, к вечной истине, к предначертаниям провидения¹, уже совсем устраивало славянофильство. Они усматривали «предначертания» в русской истории и в миссии России.

И уж совсем могли раздражать славянофилов следующие, чисто снобистские слова Гизо: «...восток представляет для нас мало интересного»².

Славянофилы предпочитали опираться на второстепенных западных теоретиков, которые вполне их устраивали отвлеченным морализмом и попыткой возрождения неохристианства. Ведь славянофильство складывалось в борьбе с западным «рационализмом», гегельянской школой. Насколько этот процесс был широк, нам даже трудно себе представить. Шла ревизия «разума» по всей линии и выдвигалась неошеллингианская «философия откровения». Мысль славянофилов двигалась от философии к вере.

¹ См.: Ф. Гизо. История цивилизации в Европе, изд. 3-е. СПб., 1905, с. 27.

² Там же, с. 29.

Чернышевский отмечал эту особенную заинтересованность славянофилов в зарубежной консервативной второсортной философии. Он даже считал, что славянофильство вообще целиком пришло к нам с Запада; «нет ни одной существенной мысли в нем (решительно *ни одной*), которая не была бы заимствована из некоторых второстепенных французских и немецких писателей...»¹. Это преимущественно писатели, недовольные тем, что их наивные ожидания не подтверждаются наукой. Знаменитую фразу о «гниющем Западе» Шевырев и отчасти славянофилы подхватили из статьи Филарета Шаля «Обозрение английской литературы», напечатанной в «Revue des Deux Mondes» в 1840 г.² У Самарина есть заметка 1857 года по поводу книги А. Токвиля «Старый режим и революция» (Париж, 1856). В ней Самарин отмечал своих западных соратников: «Токвиль, Манталамбер, Риль, Штейн — западные славянофилы. Все они, по основным убеждениям и по конечным своим требованиям, ближе к нам, чем к нашим западникам. Как у нас, так и во Франции, Англии, Германии на первом плане один вопрос: законно ли самодержавное полновластие *рассудка* в устройстве души человеческой, гражданского общества, государства?»³

Также и Б. Н. Чичерин боялся, что историками славянофильства будет опущена такая деталь: их чрезвычайно большая зависимость от реакционной французской и немецкой, в частности мюнхенской, философской школы: Шеллинга, Ботена, Баадера, Экштейна. Последние три фигуры остались у нас малоизвестными, но в 30—40-х годах с ними очень носились, и в журналах

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., Гослитиздат, 1947, с. 85.

² См.: E. Müller, с. 242.

³ Ю. Ф. Самарин. Соч., т. I. М., 1877, с. 401.

было довольно много о них статей, заметок и упоминаний в переписке современников¹.

Учение позднего Шеллинга о «философии откровения» питало их религиозность, борьбу с западным рационализмом и материализмом. Иван Киреевский увлекался также учением немецкого мистика Генрика Стеффенса, жизнеописание которого (в переводе своей матери, А. П. Елагиной) он поместил с собственным предисловием в «Москвитяине» за 1845 год (№№ 1—3).

Иван Киреевский откликнулся в «Москвитяине» на новое, исправленное издание во Франции сочинения Блеза Паскаля «Мысли о религии и о некоторых других вопросах» (1669): «Теперь яснее и чище обнаруживается направление ума этого великого мыслителя, проникнутого глубоким скептицизмом в отношении к разуму и глубокою уверенностью в религии»². Киреевский сходился с Паскалем в понимании нравственного миропорядка,

¹ См. письма Э. Мещерского, А. Мельгунова, В. Одоевского к А. Краевскому в 30—40-е гг., хранящиеся в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, а также ряд статей в «Журнале министерства народного просвещения» и статьи в «Москвитяине» за 1841 год А. Стурдзы, М. Дмитриева, И. Давыдова и др. Важное уточнение, что именно мог услышать Иван Киреевский (не исключено, и его брат Петр) в Мюнхене на лекциях Шеллинга в 1830 году, имеется в работе Э. Мюллера. Опираясь на разыскания Г. Фурманса и свои собственные, Мюллер полагает, что прослушанный Киреевским курс лекций Шеллинга под названием «Введение в философию» соответствует в собр. соч. Шеллинга (изд. 1856 г.) окончательно обработанным фрагментам «Geschichte der neueren Philosophie» и «Darstellung des philosophischen Empirismus». Но перед тем, в семестр 1827—1828 годов, Шеллинг читал «Das System der Weltalter», что было предварительным очерком вышеупомянутого «Введения в философию». Мюллер делает вывод, что упоминания в письмах Ивана Киреевского мюнхенского периода о Шеллинге касаются и этого исходного текста (Urtext), и он, по-видимому, отразился в некоторых идеях статьи Киреевского «Девятнадцатый век». См.: E. Müller, с. 182—183.

² «Москвитяинин», 1845, № 3, отд. «Наука», с. 78.

отношения божественного благоволения к человеческой свободе и прежде всего в критике разума и в проповеди философии откровения¹.

Идеи славянофильства имеют связи не только с философским христианством Германии, но и с немецкой романтической историографией, утверждавшей важность познания «народного духа», необходимость идеализации традиционализма, патриархальщины. Таким был, например, немецкий историк Ф.-К. Савиньи, автор «Истории римского права в средневековье» (1815—1831), идеи которого переработал Гизо². Эти и другие идеи получили отражение в трудах славянофилов: Константина Аксакова «Об основных началах русской истории» (не окончена), Хомякова «Записки о всемирной истории» (условное название «Семирамида»), в трудах близких славянофильству историков А. Н. Попова и И. Д. Беляева, писавшего по крестьянскому вопросу в «Русской беседе».

Противниками славянофильства, от которых они отталкивались, были: Гегель, Фейербах, Ламмене, Штраус, Гизо, Тьерри, Фихте, Бокль, потом Сен-Симон, Фурье, Конт. Союзниками, авторитетами: Шеллинг, Гегель, взятый в определенной части, Баадер, Ботен, Савиньи.

Мы видим, что отгораживание от революционного, прогрессивного Запада — после 1830—1831 годов — главная тема славянофильства. На этом строилась вся их теория. Оболочка же споров сложная; все велось под флагом поисков «самобытности» России, забот о народе и человечестве.

В записке «О старом и новом» (1839) Хомяков разобрал два полярных мнения о судьбах России, сложившихся к тому времени.

¹ См. об этом: E. Müller, с. 396.

² См. там же, с. 99.

Одни говорят, что в старой России все было лучше, чем теперь, была грамотность, правда в судах, было согласие правительства с народом, свобода церкви, чистые источники просвещения. Хомяков едко высмеивает старые порядки и указывает на извращения гражданских прав, совести, суда, просвещения в Древней Руси. Он тут обнаруживает ту трезвость понимания, которой не хватало многим его собратьям по славянофильству. Он вдребезги разносит сказку, что в старину все было хорошо. Затем Хомяков излагает прямо противоположное западническое мнение, все отвергающее в Древней Руси. Тут главным образом имеется в виду П. Я. Чаадаев, автор «Философического письма» (1836).

Кто же прав? Что лучше: старая или новая Россия? Возродить ли старину? Хомяков не призывает делать этого. Славянофилы никогда не были столь наивными. Ход мысли их был всегда сложнее. Хомяков сетует на то, что в русской истории были искажены некоторые светлые предпосылки «нашего первоначального существования». Мы еще когда-нибудь поплатимся за это, говорит он, и уже поплатились: отстали от Европы. Но по «источникам» мы всегда имели великие преимущества перед Западом. Вот отсюда Хомяков начинает выстраивать утопию. С сарказмом высмеяв две более наивные утопии, он сам впадал в плен новых хитросплетенных мысли.

Хотя мы и отстали, при всем том перед Западом мы имеем «выгоды неисчислимы», будем двигаться вперед, «занимая случайные открытия Запада, не придавая им смысла более глубокого, но и открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайнами»¹. Хомяков считает, что только возврат к незамутненным изначальным русским источникам позволит решить недоступный для Запада вопрос о свободе чело-

¹ См.: А. С. Хомяков. Соч., т. III. М., 1914, с. 29.

века в обществе, где «силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому»¹ (тут слышится явный отголосок социалистических, утопических формул). Идеалы Запада именно мы сможем осуществить. Но не простым воскрешением старины, а как бы с сознанием горького опыта Запада и с выходом к изначальным истинам нашей истории.

Иван Киреевский в записке «В ответ А. С. Хомякову» принципиально нового ничего не высказал. Он только призывал бережнее относиться к опыту Запада, указывая на тот кризис «рационализма», который теперь переживает Запад. Окончательные выводы Киреевский сформулировал весьма сбивчиво: возвращаться к старине он не рекомендовал и считал это невозможным: это уже «мертвая форма». И в то же время: «Истреблять оставшиеся формы может только тот, кто не верит, что когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит ее церковь»².

Выстраивалась новая, более высокопарная идиллия, взамен той, которую запросто отвергал здравый смысл. Оттенки в спорах между двумя основоположниками славянофильства снова и снова выявлялись, например, в статье Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» и в статье Хомякова, в которой он спорит с Киреевским (1845). Но это все несущественно. Главное объединяло Хомякова и Киреевского.

Итак, к чему же сводилась эта славянофильская «русская легенда», «ретроспективная утопия», принявшая в 1839—1848 годах, как мы знаем, вид строгого вероучения?

Три главных элемента славянофильства всегда выдвигали

¹ А. С. Хомяков. Соч., т. III, с. 29.

² И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. I, с. 120.

гали на первый план, когда старались обозначить специфику исторического пути России, ее отличия от истории Западной Европы. Из этих трех особенностей вытекали, по их мнению, «выгоды неисчислимы» для России и ее «спасительная роль» в будущем человечества.

Во-первых, в России не было завоевания, то есть того, что произошло на Западе вследствие падения Римской империи и нашествия варваров. Русское общество до Петра I сохранялось единым и не раскололось на аристократию (завоевателей) и поработенных (завоеванных). В нем не было борьбы сословий и классов и, следовательно, предметов для вечных распрей, вражды и крови, ненависти и мщения. Все споры разрешались полюбовно на вече, в общине, на основе совести и чести. Отсюда особое миролюбие русского народа, его покорность, смирение, чуждость всякой политике. В верховной власти князя, потом царя народ всегда видел воплощение патриархального семейного начала, когда младшие всегда слушались старшего. Старшему же нет выгоды нарушать общее согласие. В тех же случаях, когда власть прибегала к насилию, административному нажиму, это осуждалось славянофилами. Осуждалось с моральной точки зрения и, главным образом, как произвольное подстрекание к мятежу, повторение западного раскола со всеми его ужасающими революциями. Русское общество распалось на угнетателей и угнетенных вследствие реформ Петра Великого, когда Россия вступила на западный путь развития. Петербургский период ее истории оказался наиболее кровавым и антинародным. Отсюда вытекала славянофильская критика официальной власти, оппозиционность по отношению ко всякой казенщине, «немецким» мундирам, муштре, чиновничеству, произволу администрации, крепостному праву, которое было введено искусственно. В принципе, славянофилы всегда были монархистами, но они понимали: если самодержавие будет и дальше вести се-

бя как завоеватель в стране, то оно неминуемо погибнет в революции.

Во-вторых, Русь восприняла христианство от православной Византии, а не от еретического Рима, превратившего церковь в государство и признающего смертного человека, избираемого из кардиналов, папу, в качестве заместника бога на земле¹. Чуждая суетных мирских помыслов, русская церковь сохранила изначальную чистоту христианства. Она не проповедовала неправосудия и насилия. Она сохранила до сих пор дух братства между людьми, который уже был потерян в русской политической жизни вследствие реформ Петра I. Именно церковь и должна возродить русский народ как единую нацию. Значение русского православия возрастает теперь и потому, что на Западе католицизм и протестантство зашли в тупик, слились с политическими партиями и не могут быть силой братского единения

¹ Несомненно, учение о спасительном влиянии Византии, его чистоте, мирном избрании русскими христианства и его мирном распространении в стране, принимаемое в спорах 30—50-х годов XIX века за аксиому или отвергаемое начисто (Чаадаев), само нуждается сейчас в серьезном пересмотре.

Современная наука, византология, доказывает на этот счет многое. Во-первых, Византия была в IX—XI веках очень мощной империей, и ее влияние не следует трактовать так уничижительно, как это делал Чаадаев и многие позднее. Византия экономически и культурно не уступала Риму, и влияние ее на Русь было прогрессивным. Во-вторых, ее внутренняя жизнь была не такой идиллической, как рисовали славянофилы. В Византии была и классовая борьба, и раздоры. И, наконец, в-третьих, распространение христианства из Византии не было только мирным и безболезненным: и здесь, как и во всей Европе, шла борьба с язычеством, наблюдалось смешение старой и новой религии, и она не была столь «чистой», как рисовали славянофилы. (См.: М. В. Левченко. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., Изд-во АН СССР, 1956; В. Г. Брюсова. Русско-византийские отношения середины XI века.— «Вопросы истории», 1972, № 3; Г. Г. Литвин. Русь и Византия в XII веке.— «Вопросы истории», 1972, № 7.)

людей, которое является по-прежнему высшим заветом христианства, недостижимой мечтой всех альтруистов, утопистов, радеющих о благе человечества, вкусившего от горьких плодов цивилизации.

И, наконец, в-третьих: в России сложилось особое просвещение (идущее не от аналитика и рационалиста Аристотеля, а от синтетика, интуитивиста Платона), направленное на обоснование христианских заповедей, проповедующее мир и спокойствие человеческого общежития. Правда, просвещение в России отстало от остальной Европы, ему не хватало классических традиций: их восполняли реформы Петра Великого (так первоначально признавалось положительное значение этих реформ Иваном Киреевским, Константином Аксаковым). Но постепенно роль Петра Великого начинала получать у славянофилов только отрицательную оценку: именно он нанес удар по исконно русскому просвещению, классические же традиции ведут все к тому же ненавистному себялюбию, рационализму и анализу, разъедающему подлинное, как откровение ниспосланное, знание.

Россия должна выработать «из самой себя» начала своего просвещения, но и в то же время учесть все полезное в западном просвещении. При этом последнее понималось так же двойственно: с одной стороны, просвещение нужно как горький опыт, чтобы идти иным путем; с другой, оно само нечто ценное, что стыдно и нелепо отрицать. Славянофилы отделяли промышленные успехи западного просвещения, условия комфорта (это признавалось) от нравственных успехов (которые сводились к нулю и решительно отвергались). Большой конкретизации всех этих вопросов славянофилы не добились. О русском просвещении вообще, о синтезе вообще, о миролюбивых, органических началах вообще любил говорить славянофилы.

Все три положения славянофильской доктрины обра-

зовывали нерасторжимое единство. В конце концов все они сводятся ко второму из них: к учению о роли православной церкви, зиждительнице единства народа, его братства, его просвещения.

Из этих трех положений доктрины вытекало несколько следствий, о которых славянофилы не переставали твердить. Они никому не передоверяли критику существующих порядков и вели ее сами в определенных пределах и в кругу определенных вопросов. Славянофилы не смыкались с лагерем критического реализма в литературе, с «натуральной школой». Наоборот, они открещивались от нее, нападали на реализм. Они старательно собирали свою особую «русскую школу» в литературе и искусстве и воспитывали таланты в этом особом направлении.

Возникает спорный вопрос. Можно ли согласиться с Герценом, утверждавшим в «Былом и думах», что любовь к русскому народу была у славянофилов и западников общая: «И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, как *сердце билось одно*». Более того: со славянофилов «начинается перелом *русской мысли*»¹.

Думается, прав Чернышевский, когда в «Очерках гоголевского периода русской литературы», обсуждая вопрос о повороте русской мысли после романтической эпохи декабристов к новым проблемам, говорил о творческом восприятии в России гегельянства. «Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля,— писал Чернышевский,— совершилось у нас отчасти влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля (имеется в виду, конечно, Фейербах.— В. К.), отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность

¹ А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. 9, с. 170.

быть участником в развитии общечеловеческой науки»¹. Не в отгораживании от общеевропейской мысли, а в ее развитии русский ум проявился так крупно. Только об этом переломе и может идти речь применительно к эпохе 40-х годов. От Гегеля к Фейербаху и к «правильной» революционной теории шла мысль, преодолевая прежние отвлеченно-романтические теории.

Мышление славянофилов страдало особой софистичностью. Бывало так, что сама исходная посылка, насквозь надуманная, бездоказательная, принималась читателем как чисто поэтическое допущение. А между тем из нее славянофилы выводили целую цепь умозаключений, приобретавших затем в их глазах вид неопровержимости.

На логические тулики софистики славянофилов указывал тот же Чернышевский в журнальных заметках декабря 1856 года. Он в «Русской беседе» не мог найти ничего ясного, с чем бы можно было согласиться или поспорить. И дело не только в неприемлемости доктрины славянофилов как таковой, но и в способах ее доказательств. Даже в неприемлемой концепции, как полагает Чернышевский, всегда можно отыскать хоть крупницу объективной истины, похожей на правду².

Например, славянофилы утверждали, что «наука должна искать истину и доказать справедливость тех убеждений, которыми мы дорожим». Какое же тут понятие о науке? Чернышевский предлагает всмотреться в подстроенную софистику славянофилов. В самом деле: если взять первую половину фразы — «наука должна искать истину», — она верна. Даже вторая половина, и та содержит в себе какой-то смысл, хотя видно, что нужна тут собственно не наука, а защита всего, что славянофилам нравится. Но если рядом поставить обе

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, с. 206.

² Там же, с. 726—727.

половинны фразы: «Наука должна искать истину и доказать справедливость убеждений, которыми мы дорожим», то получается бессмыслица.

При чем тут объективная истина, которую занимается наука? Речь идет о простом «подтверждении» того, что нам нравится. Истина как бы уже заранее известна: она — то, чем мы дорожим, другой для славянофилов истины нет. Перед нами типичный пример софистики. Позднее ею грешили и субъективные социологи-народники, которые старались объединить «правду-истину» с «правдой-справедливостью», для которых также существовало только то, что они заранее воображали. Теоретик народничества Михайловский писал: цель познания, то есть науки,— в «расположении системы все растущих знаний, чтобы при этом получалось удовлетворение и нравственное чувство»¹.

Славянофилы ставили религию во главу угла всех своих построений. Конечно, декабристам, петрашевцам, Герцену и Белинскому надо было больше учитывать роль религии в истории и в современной общественной жизни, в массовой психологии. Они слишком торопились, так сказать, по-просветительски списать религию за счет предрассудков, темноты, невежества. Эти проблемы и позднее займут по-своему важное место в идеологических построениях Достоевского, Льва Толстого. Они не так-то просты. Но у славянофилов явно наметилась другая, худшая крайность. «Мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей православной церкви,— писал Кошелев,— основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенствоваться и занять подобающее место в мирском ходе человечества»².

¹ Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. 2. СПб., 1905, с. 48.

² «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 76.

Религия у славянофилов заслоняла все: и классовые и общественные отношения. Религия, можно сказать, освобождала славянофилов от обязанности иметь дело с историей, с ее переменчивыми ценностями, и саму религию они трактовали как нечто застывшее. Все, что они говорили о православии, о Византии и России, о процессе распространения христианства на Руси,— все это дилетантские утопии, опровергаемые наукой. И тот самый русский народ, который они объявляли особенно религиозным, относился к религии совсем не так идиллически в своей массе, как рисовали славянофилы.

О просвещении славянофилы говорили очень темно, то принимая Петра I, то отрицая его. Еще А. Н. Пыпин отмечал, что славянофилы не связывали концы с концами, когда, с одной стороны, отрицали реформы Петра I, а с другой — принимали становление русского государства после Петра I как свидетельство исторического величия русского народа. Но это величие и есть следствие реформ Петра... Неблагодарными учениками Запада они оказывались и в своем отношении к западной цивилизации. Отрицая ее, как не отвечающую духу русского народа, они, однако, забывали, что на ее основе была достигнута та степень просвещения, которая привела к национальному сознанию и к основанию самой славянофильской школы¹.

Им, может быть, искренно казалось, что они говорят очень конкретно о «целостном русском просвещении», о «русской народности в науке», о «почве» и «корнях» в просвещении. Хомяков не раз утверждал: «Истинное просвещение есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе»². Но кто же из западников не знал, что просвещение — это «просвет-

¹ См.: А. Н. Пыпин. История русской литературы, т. IV. СПб., 1913, с. 620.

² А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. I. М., 1900, с. 26.

ление», и не только разума, но и нравственности, то есть всего «состава»?..

Мы помним, как категорически Иван Киреевский заверял, что немецкая философия, потому что она немецкая, не может «вкорениться» на русской почве. Так же бездоказательно аргументирует этот тезис Кошелев: «...философия, даже немецкая, далеко не вполне нас удовлетворяла», потому что «мы чувствовали потребность большей жизненности в науке и во всем нашем внутреннем быте...»¹. О какой жизненности могла идти речь, если Хомяков — историк забраковал Ранке, Галлама, Неандера, Тьерри и Шлоссера, Гегеля (последнего за его «неограниченный произвол систематика») и считал, что в историческом изучении всего выше и полезнее не факты и достоверность, а чувство поэта и художника. Ученость может обмануть, остроумие склоняется к парадоксам, а чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может.

Снова возникает вопрос: но далеко ли может уйти историк, опираясь только на одно свое чувство? А тайник жизни и ее внутренние источники,— продолжает Хомяков,— не доступны для науки, создаваемой силою сухой рассудочной мысли: они постигаются лишь полностью духа, между которыми первенствующее место принадлежит «сочувствию», «общению», «братству»².

Риторически бракуя «сухой» рассудок, риторически отнимая у других «полноту духа», Хомяков риторически же провозглашает мнимые преимущества своей методы. Нужно, оказывается, не изучить, а «угадать» душу народа, угадать смысл фактов. Таковы у Хомякова и «непосредственное знание фактов», «жизненный закон», «живые начала», «общая идея», «мера», «ла-

¹ «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 71.

² А. С. Хомяков в. Поли. собр. соч., т. I, с. 73.

ракти», «источник» просвещения, «соборность», «единство духа»¹. Он запросто уверял, что «душа славянина по самой своей природе — христианка»², «Россия всегда способна к добру». Но откуда это все выводилось, на какие данные опиралось? Все бралось из «внутреннего чувства» автора.

Много и хорошо славянофилы говорили о необходимости для художника органической связи со своим народом. Хомяков выступал против космополитов: «Не верю я любви к человечеству того, кто чужд своему народу», безнародность — это слепота. Служение народности есть в высшей степени служение общечеловеческому. Но для славянофилов одно с другим связано лишь автоматически: народы — часть человечества, а человек часть народа и потому смотрит на все его глазами. Для Хомякова все добродетели заключаются только в народности и именно в русской. А на долю общечеловеческого, то есть «западного», приходится только недостатки.

Кошелев ставил в особую заслугу славянофильству то, что будто бы именно оно начало отрицать вечные законы искусства и ратовать за законы, определяемые национальными особенностями. Это присвоение первенства — чистое недоразумение. Еще декабристы, Пушкин, Гоголь, не говоря уже о Белинском, разъясняли эти вопросы. Все рациональное в этой области сказали именно они, а не славянофилы.

¹ На произвольность и сбивчивость терминологии славянофилов указывает и Р. Christoff, т. 2, с. 333—334.

² Хомяков использовал крылатое выражение Тертуллиана «душа-христианка», приспособив его к славянству. Любопытно, что о Тертуллиане и его выражении спорят герои рассказа И. А. Бунина «На даче» (1895). Видимо, это выражение было расхожим в кругах образованного общества. См.: И. А. Бунин. Полн. собр. соч. в 9-ти томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1965, с. 144.

В РОМАНТИЧЕСКОМ ПРИЧЕТЕ

Славянофильство — одна из разновидностей русского романтизма XIX века. В своем развитии славянофилы соприкасались со всеми его типами. Но они не «застревали» ни на одном из них. Хронологически славянофилы — участники этого движения на всем его протяжении. Будущие славянофилы (Хомяков, Иван Киреевский) получили первые импульсы творчества от раннего русского романтизма; ярчайшим представителем которого был Жуковский, а зрелый, собственно славянофильский романтизм — одна из стадий затухающего романтического движения в России вообще. В конечном счете сформировался особый славянофильский консервативный романтизм, который, используя одно из выражений П. Я. Чаадаева о славянофилах, можно назвать романтизмом «ретроспективной утопии».

Ни в одной из работ не поставлен прямо вопрос о типе романтизма славянофилов. Есть лишь беглые упоминания об их романтизме то в связи с увлечением Шеллингом, то в связи с характеристикой их несбыточных идеологических притязаний, или их исторических взглядов, или контактов с другими романтиками.

Рассматривая славянофилов как некоторую самостоятельную школу романтизма, мы хотели бы закрепить за ней название школы «ретроспективной утопии»,

оно кажется нам научно точным, выражающим метод мышления и устремленность ее участников. Термин «славянофилы», как мы уже говорили, хорошо выражает предмет забот этих мыслителей, выбор объекта любви в действительности, а «ретроспективная утопия» передает метод построений, их «мир иной и образов иных существование», их романтизм. Но оба названия не противоречат друг другу, они взаимно дополняют характеристику сущности явления. Можно на равных правах употреблять оба названия, в зависимости от того, какую сторону этого в общем странного явления мы собираемся подчеркнуть.

По контрасту с романтизмом «ретроспективной утопии» в русской литературе 40-х годов XIX века сложился другой романтизм, в кругу Петрашевского, западников-«фурьеристов», которых можно назвать школой романтизма «социалистической утопии». Таким образом, традиционное разделение романтизма на два главных направления — «консервативный» и «революционный», в чем-то правильное, хотя и далекое от совершенства, упрочивается дополнением этих двух разновидностей. Были Жуковский и Рылеев, по существу, два вида романтизма, и вот в конце первой половины века — славянофилы, «ретроспективно утопические» романтики, и петрашевцы — социалистически-утопические романтики. При этом мы отчетливо сознаем всю условность и относительность самих разграничений романтиков на прогрессивных и консервативных. Ведь прогрессивным для своего времени был и романтизм Жуковского, когда-то первый и единственный в России, вызывавший косые взгляды охранителей, «шишковистов» за проповедь чрезмерного своеволия меланхолической личности, недовольной тем, что есть. Ведь эта рефлектированная неудовлетворенность личности существующей действительностью была в глазах охранителей и консервативных классицистов начала XIX века буйным проявле-

нием «западного» личностного начала. Потом эта сторона в романтизме Жуковского заслонилась более яркими проявлениями борьбы за права личности в «гражданском» романтизме декабристов, философским романтизмом «любомудров» и особенно «гордой враждой» Лермонтова с земным и божеским миропорядком¹.

Следует предварительно оговориться и относительно такого обстоятельства. В школе славянофильского романтизма, какой бы единой по программе она ни представлялась, были внутренние оттенки между входившими в нее поэтами. В их контактах с поэтами других школ не было строгой последовательности. Для братьев Киреевских с детских лет по родственным связям духовным наставником был Жуковский. Но Хомяков прошел несколько иную школу, более классицистическую и «архаическую». Его наставниками были Мерзляков, А. Жандр (приятель Грибоедова), А. Глаголев (тот самый, который осуждал «Руслана и Людмилу», приравнивая выход в свет поэмы Пушкина к бесцеремонному появлению мужика в дворянском благородном собрании, со словами «Здорово, ребята!»). На многих стихах Хомякова так и осталась навсегда печать классицистического одописания. Для Константина Аксакова решающее значение имело домашнее патриотическое воспитание, основанное на «Истории государства Российского» Карамзина и всецело на каком-то культе всего славянского и русского. Иван Аксаков лучше остальных славянофилов знал реальную жизнь и видел, как все труд-

¹ Вопрос о типологии русского романтизма не раз обсуждался в советском литературоведении и не может еще считаться окончательно решенным. См. статьи последнего времени на эту тему: А. М. Гуревич. О типологических особенностях русского романтизма.— В сб. «К истории русского романтизма». М., «Наука», 1973; В. И. Кулешов. Типология русского романтизма.— В сб. «Романтизм в славянских литературах». М., Изд-во МГУ, 1973.

нес было держаться утопии среди побед школы Гоголя и Белинского в русской литературе.

Но славянофильская романтическая школа как таковая существовала и закономерно демонстрировала определенную логику своего поэтического самоопределения.

Романтизм Жуковского был наиболее близок славянофилам по своим мотивам, жизненной концепции. Особенно были важны в этом романтизме мотивы народности и патриотизма. Жуковский в 10-х годах был занят осуществлением своих романтических замыслов, в частности, поэмы о Владимире Святом. Интерес Жуковского к иностранной литературе не вызывал у них неприязни. Все было освящено именем любимого русского поэта, поисками самобытности. Они не восхваляли элегии и баллады Жуковского на рыцарские сюжеты. Но «волшебные сказки» в назидательном духе любили.

У Ивана Киреевского есть прозаическая сказка «Опал» (1830), напоминающая «Красный карбункул» Жуковского. Образ томного «певца», не понятого средой, импонировал славянофилам. Таков у того же Ивана Киреевского «бедный певец» в рассказе «Царицынская ночь» (1827).

Мотивы романтического уединения, отчуждения от «бедствий земных», тихие беседы с богом и небом наполняют ранние стихи Хомякова: «Послание другу», «В альбом сестре», «Желание», «Поэт» и др. В поэзии Хомякова есть и державинские ноты, философские размышления в духе «любомудрия», и гражданская патетика, но все облекается в тона меланхолии, явно в духе Жуковского («Сон», 1828; «Признание», 1830). Все славянофилы, как и Жуковский, душевное горе осмысливали как произвол промысла и со смирением выносили испытания. Об исключительной способности Хомякова к религиозному экстазу рассказывает в воспо-

минаниях Ю. Ф. Самарин¹. Аналогичный рассказ об Иване Киреевском есть в «Былом и думах» Герцена. Пережитое чувство выливалось иногда в прекрасных стихах. Таково в духе Жуковского стихотворение Хомякова «К детям» (1839), написанное в связи со смертью его двух малолетних сыновей.

В плену образов и мотивов Жуковского долгое время находился Константин Аксаков («Элегия», 1832; «Стремление души», 1834), пока не стал целиком поэтом-гражданином в славянофильском смысле.

Перепевы ритмов Жуковского слышатся и в стихах Ивана Аксакова:

Дню вечернему забвенью,
Дню грядущему привет.
(«На 1858»)

Невольно вспоминаются стихи Жуковского:

Спящий в гробе мирно спи;
Жизнью пользуйся живущий.

Займствования касались иногда восточно-экзотической области, в которой Жуковский-переводчик был большим мастером. Внимательного читателя Хомякова не может не остановить стих:

Где сон ее лилеют пери
И духи вод ей песнь поют;
Но мрачный Див стоит у двери,
Храня таинственный приют.

(«Изола Белла», 1826)

Подобные обороты есть у Жуковского в его переводе «Пери и ангел» из Т. Мура (1821).

Как славянофилы ни обгоняли Жуковского в целе-

¹ См.: «Татевский сборник». Под ред. С. А. Рачинского. СПб., 1899, с. 128—133.

устремленном философствовании, они все же использовали в качестве исходных начал углубленные формулы из его «Невыразимого» (1818) и других лирических излияний. Хомяков в стихотворении «Два часа» (1831) задался той же идеей: поведать о трудностях выразить невыразимое.

Жуковский был всегда желанным гостем у славянофилов. Он был для них символом благородных традиций, их опорой. Он печатал в их сборниках, в «Русской беседе» свои вещи.

Перевод «Одиссеи» Жуковским (1849) использовался ими как козырь в борьбе с «натуральным» направлением в литературе. Гомеровская старина, цельная древнегреческая жизнь противопоставлялись «грязи» и «раздору» современной жизни. Так на другой основе продолжался спор К. Аксакова с умершим Белинским из-за «Мертвых душ», противопоставлялась «идиллия» Гомера сатире гоголевского направления. И Жуковский не противился такому истолкованию его перевода.

А вот другие связи славянофилов с романтиками.

«Никогда не забуду одного вечера,— писал славянофил Кошелев,— проведенного мною, 18-летним юношей, у внучатого моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости *d'en finir avec ce gouvernement* (покончить с этим правительством.— В. К.). Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление; и я, на другой же день утром, сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс с степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в

образе правления»¹. Предложениям и прениям, продолжает Кошелев, тогда не было конца. Ему, юноше, казалось, что «для России уже наступал великий 1789 год»².

Может быть, отголосок вольномыслия слышится в упоминавшейся «Царицынской ночи» Ивана Киреевского. Здесь изображается одна из загородных прогулок, которые в то время, чтобы скрасить впечатление от казни декабристов, предпринимали любомудры. Об этих прогулках рассказывает Кошелев в воспоминаниях. И вот молодые люди посетили подмосковное Царицыно, с недостроенным дворцом Баженова, с прудами. На пикнике поэт по просьбе друзей читает импровизацию. Стихи в общем слабые, в духе унылого романтизма Жуковского, но тут любопытен перечень семи сакраментальных звезд с истолкованием значения каждой из них: веры, песнопения, любви, славы, свободы, дружбы и надежды.

Этот ряд отчасти напоминает пушкинское послание к Чаадаеву: «Любви, надежды, тихой славы». Существуют разные значения символа «звезды» в поэзии декабристов и их окружения. У Кюхельбекера: «Мы вместе помчимся туда, туда, где восходит свободы звезда». У Рылеева: «Звезда надежды воссияла». Тот же Рылеев говорил о Байроне как «звезде путеводной». Для А. Бестужева звезда — «вожатый». И свой альманах декабристы назвали «Полярная звезда» и еще предполагали выпустить «Звездочку».

У Киреевского есть все эти значения, кроме звезды-вожатого, путеводителя. Но Киреевский многозначительно славил «звезду свободы»:

¹ «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 13.

² Там же, с. 14.

Кому, пред неправою силой
Главы благородной склонить не дала
Свободы звезда золотая...

Тут определенно есть переключка с посланием Пушкина в Сибирь: «Храните гордое терпенье». Не склоняйте головы перед неправой силой, то есть перед тиранами, говорит Киреевский. Эта звезда — утешительница в бедах — многое значит.

Сочувственное отношение к декабристам не характеризует славянофилов в целом. Хотя славянофилы и не были в числе тех, кто проклинал их, однако они считали восстание ошибкой, не органически русским явлением.

Хомяков служил в лейб-гвардии конном полку, квартировавшем в Петербурге. Его первые публикации появились в «Полярной звезде» Рылеева и А. Бестужева. Хомяков и декабристы чуждались светских забав и горячо спорили на политические темы. Но Хомяков не разделял их гражданских убеждений.

Дочь Хомякова, Мария Алексеевна, вспоминала, видимо, по семейным преданиям: только случайность, отъезд в Париж в 1824 году, спасла ее отца от следствия. Его знакомство с петербургскими декабристами не сошло бы гладко. «В собраниях у Рылеева и А. И. Одоевского он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и А. И. Одоевского, настаивал, что всякий военный бунт, революция, сами по себе безнравственны»¹.

Итак, Хомяков увез с собой в Париж чувство отвращения к восстаниям. Когда восстание декабристов потерпело поражение и началось следствие, Хомяков в том же отрицательном духе обсуждал в переписке с отцом эти события. Письмо отца от 3/15 мая 1826 года

¹ ГИМ. Напеч. в предисловии Б. Ф. Егорова к изд.: А. С. Хомяков. Стихотворения и драмы. Л., «Советский писатель», 1969, с. 11.

было послано в Париж накануне казни декабристов. Ответное письмо Хомякова к отцу до нас не дошло. Отец Хомякова писал: «Для русских крестьян свобода заключалась бы в свободе напиваться. Надо знать их мысли насчет свободы! Они говорят: мы не будем платить ничего, мы ни от кого не будем зависеть, у нас водка будет дешевле!»¹, то есть: дай такому народу свободу, и наступит анархия и варварство. Начнется избиение властей, образованных классов. Грамотные мужики тем более впадут в разврат и безверие. Отец Хомякова считал, что восставшие дворяне все почерпнули из книг, они «никогда не изучали народного духа, ни в одном сочинении хорошо не описанного...».

В таком же духе по горячим следам описывал мятеж и брат поэта, Федор Степанович Хомяков, в письме к нему из Петербурга в Париж от 24 декабря 1825 года². Все заставляет предполагать, что и сам Хомяков, будущий славянофил, точно так же думал о событиях в Петербурге. Единomyслие его с родными в этом вопросе было полное.

Аналогичные суждения о декабристах высказывали Самарин, Константин Аксаков. Вера Аксакова в дневнике записала, что восстание имело пагубное влияние на все царствование Николая I: он боялся всего и потому свирепствовал.

Но в области поэзии славянофилы не столь явно были антагонистами декабристов. Здесь процессы поляризации совершались медленнее. Многие поэтические образы и формулы гражданского романтизма декабристов продолжали жить в поэзии славянофилов.

Общими были призывы уважать все свое, народное, не тронутое аристократизмом высшего света, общим было презрение к этой светской верхушке, к «переро-

¹ А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1904, с. 23 (приложения).

² См.: «Русский архив», 1894, кн. 5, с. 221—223.

дившимся славянам» («Гражданин» Рылсева). В. Ф. Раевский в послании «К друзьям» (1822) также не хотел позорить «гражданина сан» и аскетически отказывался петь любовь. Этот аскетизм свойствен был и славянофилам. Гражданская устремленность была для них характерна в сильнейшей степени.

Все свое негодование декабристы обращали на потерявшее чувство гражданственности «племя чуждое», которое «терзает нас кровавой пыткой»; то есть на породившееся капральство, аракчеевщину. Славянофилы потом обрушатся на всю петербургскую бюрократию, чиновничество, которое терзает народ (Константин Аксаков, «Тени» и др.).

Вернемся к теме «народности». Декабристы знали народ не хуже славянофилов, но они искали в народе черты политической активности. Именно декабристы первыми поставили многие вопросы «народности», которыми так впоследствии гордились славянофилы. Были выработаны уже в 20—30-х годах многие сокровенные формулы для поэтического выражения народолюбия: фольклор как источник поэзии, поэт — голос народа и проч.

Бестужев-Марлинский в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» выражал сожаление: «Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски?»¹

Кюхельбекер пояснял: «Всего лучше иметь поэзию народную». «Да создастся для славы России поэзия истинно русская,— писал Кюхельбекер,— да будет святая

¹ Сб. «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика». Составил Вл. Орлов. М.—Л., Гослитиздат, 1951, с. 546.

Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первую державою во вселенной! Вера праотцов, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»¹.

Декабристы немалого труда потратили, чтобы воскресить героев русской истории. Их интересовали герои древнерусской вечаевой вольницы патриоты-свободолюбцы: Вадим, Ермак. Эти герои дум Рыльева и песен А. Одоевского были излюбленными и в творчестве славянофилов: «Вадим», «Ермак» у Хомякова, новгородские темы у Константина Аксакова и того же Хомякова.

Декабристы не стеснялись называть Русь «святой» и все русское «священным». В эти термины они не вкладывали религиозного содержания, а выражали ими лишь высокую патетику своего гражданского отношения к родине. О «святой ревности гражданина» говорил в стихах Рылеев. Заслугу Державина поэт-декабрист видел в том, что тот «пел и славил Русь святую», был «органом истины священной». Дмитрий Донской в думе Рыльева отправляется на Куликово поле для того, чтобы отстоять против татар «святую праотцев свободу», «священные права граждан». «Святому братству» клялся быть верным Пушкин при прощании с Лицеем в стихотворении, обращенном к Кюхельбекеру.

И после поражения А. Одоевский в послании Пушкину из Сибири выражал уверенность, что в новом восстании русский «православный народ» «сберется под святое знамя». В ритме стихотворения ссыльного Одоевского «На переход наш из Читы в Петровский завод» по-особенному звучат слова «За святую Русь!», словно кадансы тяжкого пути. Декабрист Ф. Ф. Вадковский писал из темницы: «Помнишь ли ты нас, Русь святая, наша мать». Неизвестный автор в 1831 году в стихо-

¹ Сб. «Декабристы...», с. 552, 553.

творении, посвященном И. И. Пущину, выразил свою мысль аналогичным образом: «Мать ты наша матушка православная, ты святая Русь».

Не исключено, что такой щедрый наплыв «священной» терминологии в поэзию 20—30-х годов был отголоском соответствующих формул, рожденных еще в ходе «священной» Отечественной войны против Наполеона. Но позже эти формулы были переосмыслены применительно к гражданско-патриотическим темам и сильно обогащены. В 1816 году декабрист Г. С. Батеньков, участник Отечественной войны, выразил это отчетливо:

Я русский: гордо бьется грудь
При имени России.

У декабристов библеизмы, церковные славянизмы имели романтически-народную окраску. Герой Куликовской битвы у Рылеева преисполнен особой благодати для свершения своего подвига, потому что «От Сергия услышал глас». Известно, что Троице-Сергиева лавра сыграла выдающуюся роль в патриотической мобилизации русских на борьбу против татарского ига. Инок Пересвет погиб в схватке с татарским всадником Челубеем. Михаил Тверской, который за мучения, принятые в Орде, был причислен русской церковью к святым, воспет Рылеевым как патриот. Точно так же с религиозным воодушевлением действует у него на благо России и Иван Сусанин. Исповедующийся Наливайко говорит своему духовнику: «И радостно, святой отец, свой жребий я благословляю». Свои высокие требования декабристы формулировали в «Гражданском катехизисе».

Поклонение декабристов старой Руси, вечевому Новгороду, Пскову, самобытности разделялось будущими славянофилами и отчасти прокладывало путь их собственной идеализации Руси. И все же гражданственность ими понималась совсем не так.

Хомяков вслед за Рылевым, В. Ф. Раевским, Пушкиным воспел Вадима. Его поэма развернута в эпическое повествование с описанием битвы и подвигов героя, но навязчивое морализирование извратило тираноборческую тему. Хомяков наделяет героя рефлексией, его мучает сознание того, что ради свободы Новгорода ему пришлось пролить кровь. Здесь слышится отголосок тогдашних споров Хомякова с Рылевым о праве на восстание, о той цене, которой может быть куплена свобода. Настоящего понимания этой благородной темы Хомякову не хватало. Иное дело В. Ф. Раевский: он призывал возродить вече, которое умело сокрушать «царей кичливых рамена».

В стихотворении «Новгород» (20-е годы) Хомяков лишь констатирует исторический факт: великий город запустел: «И на бросавшей молнии длани гремит бесславию цепей». Поэтическая находка, однако, не пропала, она была переиначена А. Одоевским в ответе на послание Пушкина: «К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели». Другой стих А. Одоевского «мечи скуем мы из цепей» был переделан Константином Аксаковым: «Раб в бунте опасней зверей. На нож он меняет оковы» («Свободное слово»). В стихотворении «Новгород» (1851) Аксаковым была вовсе снята проблема веча и свободы: душеприказчиком вольного города оказалась самодержавная Москва. Новгород «уступил» ей все свои права, и ее «собор» заменил теперь «древнее вече». Так, якобы без крови, совершилось это «завоевание». Славянофилы как-то неохотно обсуждали вопрос о древней русской демократии. Расплывчатая «былая слава» их вполне устраивала, в существо ее они не углубились.

Более сближает будущих славянофилов с декабристами тема любви к славянству, жажда его возрождения. У декабристов было «Общество соединенных

славян»¹. Встречи «любомудров» с Мицкевичем в Москве в 1827—1828 годах подогревали эти чувства. Для славянофилов славянский мир — это мир древней общины и особой святости отношений. И все же для славянофилов единение славян возможно только в вере, под благословением церковных пастырей. Совсем другое у декабристов. Одоевский из Сибири приветствовал Польское восстание 1830 года, поляки почтили тризной декабристов. Поэта привлекает дух интернациональной солидарности свободолюбивых народов.

В 1859 году в славянофильской «Русской беседе» было опубликовано стихотворение давно уже покойного А. Одоевского «Славянские девы». Стихотворение было очень популярно среди декабристов и было положено на музыку. Казалось бы, протягивались прямые нити от декабриста Одоевского к славянофилам. Вся поэтическая тональность стихотворения отчасти и действительно родственна им. Поэт задает вопрос: почему голоса славянских народов никак не сольются в единый хор,

¹ В декабристском «Обществе соединенных славян» (братья П. И. и А. И. Борисовы, Ю. К. Люблинский, И. И. Горбачевский) практически шла речь о возрождении старорусских демократических начал. Предусматривалась особая структура будущей законодательной власти — Народное вече, Верховный собор, утверждающий все законы исполнительной власти. Говорилось и о братстве славян, о необходимости предоставления свободы Польше. «Общество соединенных славян» было сторонником радикальных средств. Их демократические институты должны были заменить свергнутую власть самодержавия. Славянофилы извратили эту простую идею: их Народное вече, Земский собор должны были стать опорой власти царя, носить чисто совещательный характер. Но и среди членов «Общества» были разные настроения. Горбачевский так передает цель «Общества»: «Хотя военные революции быстрее достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются». Хомяков также в прямых спорах с Рылеевым накануне восстания 1825 года решительно отвергал военные заговоры. (См. сб. «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. III. М., Госполитиздат, 1951, с. 23 и др.)

почему по-разному поют славянские девы? Песни лянских дев «нежны и быстры», сербские песни задушевно «просты» и в «диком напеве блещут красотой», у чешек они звучны и дышат «любовью и славой». И только у русской, «старшей дочери» в семействе славян, песня «заунывная», а очи «заплаканы», потому что она «грустно живет».

Поэтическая мысль этого стихотворения была лирична. Образ славянского моря, или потока-исполина, в котором сливаются все ручьи и реки, полюбился многим поэтам и стал традиционным. Есть он и у Пушкина («Славянские ль ручьи сольются в русском море?»). Одоевский — за единство славян, но без политического главенства царской России. У него «старшая дочь» больше унижена, чем остальные. По существу это стихотворение противостояло всей программе славянофилов и только отдаленно казалось созвучным направлению «Русской беседы».

Захватила в 20-х годах Хомякова тема греческого восстания, которую разрабатывали В. Раевский, Гнедич, Кюхельбекер, Пушкин. Выше уже рассказывалось, что юноша Хомяков даже хотел бежать в Грецию, чтобы помогать восставшим. Казалось, что православная Русь обязана была помочь единоверной Греции в борьбе с турками. Свои настроения Хомяков выразил в послании братьям Веневитиновым (1821). Но Хомяков хотел, чтобы призыв к борьбе был ему дан свыше, самим царем: «О если б глас царя призвал нас в грозный бой!» Для декабристов же эта тема греческого восстания была дорога как революционная (произошли уже «беспорядки» в Семеновском полку). Хомяков предпочитал оставаться верноподданным. Когда после греков восставали сербы, болгары, он также призывал помогать им. Но турки у него — только турки, все те же единственные угнетатели.

Критическое отношение к Западу было и у декабристов в тех случаях, когда они усматривали и там,

на Западе, подавление свободы (см. «Лица» Кюхельбекера) или вражду Альбиона к мятежному своему гению Байрону. В послании к Вяземскому Кюхельбекер называет «немыми» также и народы Запада, которых гнетут вековым жезлом «тираны». Запад не всегда в глазах декабристов был образцом процветания.

Свойственно было некоторым декабристам и тоскливое в духе последующего славянофильства отношение к своему родному там, за границей. В «Сне русского на чужбине» Ф. Н. Глинки, участника Отечественной войны, сначала декабриста, а затем близкого к славянофилам поэта, вкраплены звучные стихи: «Вот мчится тройка удалая», ставшие народной песней (напеч. в 1831 г., написана раньше, видимо в походе). Славянофильское неприятие чужого, западного, вырастает потом до огромных размеров. Константин Аксаков пошлет профессору Московского университета историку А. Н. Попову, отбывавшему в 1842 году за границу, целое наставление, чтобы он не обманывался «ложным видом» чужой жизни, чтоб не забывал он Кремль и «образы родные». Много на эту «русскую» тему было написано близким к славянофилам Н. М. Языковым.

Молодой Хомяков воспевал Венецию («Изола Белла», 1826), вспоминал после путешествия «страну чудес» Италию, скалы Швейцарии, «убежища свободы», роскошь Франции («Зима», 1830). Но затем все переменялось. Хомяков стал осуждать Альбион. Стихотворение «Остров» (1836) Хомякова близко «Пророчеству» Кюхельбекера (1822, опубл. в 1902). Хомяков мог знать это стихотворение в списках, хотя сам Кюхельбекер в это время был в Тифлисе, а Хомяков весной 1824 г. уехал в Париж.

В обоих стихотворениях совпадают осуждения черствого Альбиона, поклоняющегося «злату». Есть у Кюхельбекера и мысль о грядущей каре Альбиону со стороны «святой силы», когда уже не помогут Альбиону «все крамолы». У Хомякова также сказано: «куешь кра-

молы». Вряд ли такое совпадение случайно. Но есть и существенная разница, отделяющая поэта-декабриста от поэта-славянофила. У Кюхельбекера Россия, носительница «святой силы», не противопоставляется Англии. Для Хомякова это принципиальный вопрос, ради этой идеи и написано произведение. Для Кюхельбекера «святым» было его революционное дело на благо России, но не сама царская Россия. Выражение «святая сила» в данном случае означает почти то же самое, что «божий суд» у Лермонтова в стихотворении «Смерть поэта». Под «божьем судом» явно имеется в виду суд истории, суд народа. А, по мнению Хомякова, Альбион будет наказан некой особой праведностью России, его покарает суд истории.

Чрезвычайно интересные напрашиваются сопоставления поэзии славянофилов с поэзией Пушкина. Кажется, они еще никем не обобщались¹.

¹ Тут много еще ожидает нас мелочей, требующих объяснения, догадки. Например, Т. Г. Цявловская установила, что таинственный профиль, начертанный Пушкиным на одной из страниц черновика «Полтавы», — портрет Петра Киреевского. Но какая тут связь, трудно еще установить. Пренебрегать же этими «мелочами», отметить их как позначащие, нарушающие, так сказать, привычный идеологический облик Пушкина и славянофилов, не следует. Пушкин хотел написать предисловие к собранию песен Петра Киреевского, историческим, свадебным, в свойственном им элегическом тоне (остался набросок статьи). В «Московском вестнике» была напечатана простонародная баллада Пушкина «Жених», импонировавшая будущим славянофилам. Петр Киреевский опубликовал в этом же журнале статью о книге Якова Ризо Нерулоса «Курс греческой новейшей литературы», изданной в Женеве в 1827 г. Пушкин был знаком с Ризо на юге, читал статью Петра Киреевского. Все эти факты отражают интерес обоих, Пушкина и Киреевского, к грекам, это отголосок сочувствия освободительному движению греков против турок. Петр Киреевский и Пушкин в 1829 году просились в армию, но им не разрешили. Обоих связывал интерес к Кальдерону, пьесу которого «Трудно стеречь дом о двух дверях» перевел Петр Киреевский («Московский вестник», 1829, №№ 19—20). См.: Т. Г. Цявловская. Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1970, с. 93.

Конечно, в любой научной биографии Пушкина всегда говорится о творческих и личных встречах великого поэта с будущими славянофилами. Пушкин 17 октября 1826 года в доме «любомудра» Веневитинова в Кривоколенном переулке читал «Бориса Годунова», а затем Хомяков читал свою историческую драму «Ермак».

Известно, что под впечатлением от пушкинской трагедии Хомяков захотел вступить в своеобразное соревнование с автором «Бориса Годунова» и задумал написать трагедию «Дмитрий Самозванец». Пушкин был доволен первыми критическими статьями Ивана Киреевского и его отзывами о себе, и действительно, эти статьи были заметным явлением в русской критике. В 1833 году Пушкин передал Петру Киреевскому свое собрание русских песен.

Но все это — биографические факты, отдельные эпизоды. Нужно более глубокое изучение связей Пушкина с будущими славянофилами.

В период издания «Московского вестника» (1827—1830) бывшие «любомудры», а некоторые из них — будущие славянофилы, определенным образом спекулировали на своей близости с Пушкиным и его сотрудничестве в их журнале. Но поэт порвал с «Московским вестником», отвергнув его схоластический идеализм, проповедь «чистого искусства». Не ладилась его отношения с теми же лицами, позднее сгруппировавшимися в «Московском наблюдателе» (1835—1836). Он писал в мае 1836 г. жене: «Наблюдатели» меня не жалуют»¹.

¹ В своих записках А. И. Кошелев засвидетельствовал: «Пушкина я знал довольно коротко, встречал его часто в обществе, был и я у него. Но мы друг к другу не чувствовали особенной симпатии» (с. 31). Смерть поэта поразила, естественно, и славянофилов. См. письма Аксаковых об этом: «Литературное наследство», т. 58. 1952, с. 140. Но Н. Барсуков располагал сведениями о сравнительно равнодушном отношении некоторых из славянофилов к смерти Пушкина. (См.: Н. Барсуков. Жизнь и труды. М. П. Погодина, кн. IV. СПб., 1891, с. 437.)

По всему складу своего воспитания, мышления, в значительной степени по тематике и проблематике творчества Пушкин был «западником». Он славил Петра Великого и его творение — северную столицу. Он был певцом свободы в декабристском понимании, был «байронистом», приведшим в русскую литературу тему чайльд-гарольдовского анализа, нежелательную с точки зрения Ивана Киреевского; потом стал вдумчивым историком Пугачева и художественным изобразителем народного мятежа. Все это расходилось с представлениями славянофилов о том, какие должны быть истоки и пафос творчества подлинно народного писателя. Даже обработку Пушкиным сказок они считали святотатством (Хомяков восхищался только сказкой «О рыбаке и рыбке»): фольклор должен быть неприкосновенным. В «Песнях западных славян» они улавливали мотивы непокорства, вражды, гордого себялюбия, слишком развитого личностного начала.

И все же Пушкин был Пушкиным. Дочь Хомякова в одной из записок свидетельствует, что ее отец «прекрасно читал стихи Пушкина», она помнила, как он читал «Обвал», «Для берегов отчизны дальней...», «Сижу за решеткой в темнице сырой...», любил «Монастырь на Казбеке»: «Сам он очень дорожил мнением Пушкина и говорил, что Пушкин очень любил его стихотворение: «Не сила народов тебя возвела, // Не воля чужая венчала»¹. Свидетельство дочери поэта очень важно, но она что-то спутала: видимо, речь должна идти о каком-то другом стихотворении Хомякова, которое Пушкин хвалил. Пушкин не мог знать этого стихотворения Хомякова. Оно написано Хомяковым в 1841 году в связи с перенесением праха Наполеона в Париж («Еще об псм»).

Константин Аксаков в дневнике 1834—1836 годов неоднократно цитирует Пушкина, который служит ему

¹ ГИМ., ф. 178, ед. хр. 1, л. 38 и об.

путеводной звездой в поэтическом самоопределении. Для него девизом звучит стих: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». В меланхолическом настроении он цитирует «Дар напрасный, дар случайный...», «Под небом голубым страны своей родной...»¹. Идеалом слияния мысли и звуков в русской поэзии для Аксакова были стихи Пушкина, в частности, «Я был рожден для жизни мирной...»².

Под портретом Пушкина работы Тропинина славянофилы собирались в салоне Елагиной. Этот портрет принадлежал другу поэта Соболевскому и был оставлен им на хранение Елагиным перед отъездом своим за границу в конце 20-х годов. Сам Пушкин бывал в этом салоне. Дух его как бы всегда присутствовал здесь. Иван Аксаков уже гораздо позднее в письме к Н. С. Кохановской от 20 июля 1859 года рассуждал так: гений Пушкина сложился «несмотря на иностранное воспитание» и поэта, и общества, и велик поэт особенно там, где прикоснулся народной речи³. Таково было и прочувствованное слово Ивана Аксакова в 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве, приспособляющее народного поэта к славянофильству: Пушкин — наша «первая любовь», «поэт с живой русской душой», не байронист, не отрицатель, не «аристократ», он за народ, за славян, он воспел Олегов щит на вратах Константинополя и т. п.⁴.

При жизни поэта формирующееся славянофильство так или иначе несло на себе отзвуки его поэзии. Вне влияния Пушкина тогда трудно было писать стихи. У Хомякова, например, можно прочесть стих: «И ждет в томленья упования» (стихотворение «Старость»,

¹ ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 31, л. 2, 12, 27.

² Там же, лл. 25—26.

³ «Русское обозрение», 1897, № 2, с. 585.

⁴ И. С. Аксаков. Соч., т. VII, М., 1887, с. 813—833.

1827). У Хомякова говорится не о «минуте вольности святой», а о жажде успокоения. Но стих — пушкинский, из послания к Чаадаеву, за которое поэта сослали, и кто из грамотных в России не знал этого стиха? Хомякову вряд ли бессознательно подвернулся в 1827 году другой стих: «И от судеб тебе защита» («К В. Киреевскому»). Он взят из «Цыган», вышедших в том же 1827 году. И еще одно похищение в том же году: «И то заплачу я отрадно, // То горько улыбнуся я» («Элегия на смерть В. Киреевского»). Стих, конечно, сделан по модели пушкинского: «И вашей радости беспечной // Сквозь слезы улыбнуся я».

Пушкин влиял даже фактурой, ритмом стиха. Заразительным оказался, например, такой его ритм: «Город пышный, город бедный, // Дух неволи, стройный вид» (1828). У него здесь говорится о Петербурге, и славянофилам, уже вынашивавшим свою теорию, мог импонировать самый дух отрицания. Хомяков в этом же ритме построил свое обличение коварного Альбиона в стихотворении «Остров» (1836) («Остров пышный, остров чудный: // Ты краса подлунной всей»).

Хомяков называл пушкинского «Пророка» «бесспорно, великолепнейшим произведением русской поэзии»¹. Но пушкинский герой, принявший божью благодать, пошел «глаголом жечь сердца людей», а у Хомякова, он «богу гимн» пропел, наполнил лишь своим голосом мертвое доселе творение природы, землю.

Симптомы собственно славянофильских настроений можно уже уловить в его «Ермаке». Драма писалась в Париже, в 1825 году, когда Хомяков уже провел ряд споров с декабристами на тему о восстании, об ответственности перед присягой. Ермак тоже виноват перед

¹ А. С. Хомяков, Соч., т. VIII. М., 1900, с. 381—382.

царем и богом за свои разбойничьи дела. Покорение Сибири, кажется, искупало все вины. Но в этой лирической драме, так же как и в «Вадиме», Хомяков доказывает, что заслуги, купленные кровью,—не заслуги... Одно за другим снимаются с Ермака проклятия отца, царя, но остается вина перед богом. Герой у Хомякова терзается муками совести как какой-нибудь романтический рефлекс XIX века. Исторического колорита в этой драме нет¹.

Более удачным оказался «Дмитрий Самозванец» (1826—1832). Видимо, повлиял опыт Пушкина в достижении исторического колорита. Однако в драме Хомякова оспаривается существование «народного мнения»:

...русский любит горячо
Семью, отчизну и царя; но боле,
Но пламенней, сильнее любит он
Залог другой и лучшей жизни — веру.

¹ Эта драма, однако, подала бдительной цензуре николаевского времени поводы для придирок; как-никак, а своевольный Ермак — все же бунтарь. При первом ее представлении в Петербурге в 1829 году роль Ермака играл В. А. Каратыгин, когда автора не было в России (он служил в это время в Дунайской армии и стоял с полком под Шумлою), цензура изъяла из монолога ссаула Мещеряка слова с советом Ермаку не идти с повинной к царю:

Не весели погибелью своею
Свирепого и дикого безумца,
Гонителя угодников христовых,
Венчанного врага земли родной.
(III дейст., 4 явлен.)

И надо сказать, эти слова сколь смелы, столь же и специфичны для позднейшего славянофильства, резко отрицательно относившегося к деспотам на троне. Выпущен и эпитет «кровопийца», хотя, как отмечает в своих заметках отец Хомякова, бывший на премьере, в «Истории» Карамзина он имеется применительно к Ивану Грозному (ГИМ, ф. 178, ед. хр. 7, л. 71 об).

Хомяков не видит никакой необходимости уничтожать Самозванца. Он ставит ему в вину только одно: Дмитрий послушался Марину Мнишек, иезуитов и не перешел в православие. Сумей сделать это, он удержался бы на троне, стал бы русским царем.

Была известная смелость и оригинальность в такой трактовке Самозванца. Это была попытка его оправдания и даже противопоставления Михаилу Романову, вскоре занявшему русский трон. Нужны умные цари, слушающие умных искренних советчиков, соблюдающие веру праотцев — вот «программа минимум» будущего славянофила Хомякова. Позднее славянофилы будут проповедовать идеи улучшения монархического правления путем созыва совещательных Земских соборов, проведения реформ, соблюдения чистоты религии.

«Мнение народное» только к этому совещательному праву и сведено Хомяковым. Во всем остальном — полное небрежение историческим колоритом; Хомякову не хватает объективности в разворачивании действия. Созданные им образы слишком открыто дидактичны, холодны и примитивны.

Жизнь то и дело выдвигала новые точки соприкосновения будущих славянофилов с Пушкиным. Но славянофилы все чаще и чаще начинали давать на все вопросы диаметрально противоположные ответы.

В своеобразное соревнование с Пушкиным Хомяков вступил в 1830 году в своем отклике на Польское восстание. Он написал «Оду» («Внимайте голос истребления...»), но она не была разрешена к печати царем. Распространились тогда и стали чрезвычайно известными два стихотворения на эту тему: «Клеветникам России» Пушкина и «Русская песнь на взятие Варшавы» Жуковского. В переводе на немецкий язык «Ода» Хомякова, однако, увидела свет в 1831 году вместе с те-

ми двумя стихотворениями в одной брошюре, изданной в Петербурге.

Обычно «Клеветникам России» Пушкина сопоставляется с чисто верноподданнической и малоталантливой «Русской песней...» Жуковского. Но пора бы с «Клеветниками...» сопоставить и «Оду» Хомякова. Сама тема как бы торопила славянофильство высказаться определенно, ведь и «славянский вопрос» войдет в сложившуюся позднее их доктрину.

У Хомякова главная мысль об особой миссии русского «старшего Северного орла», который должен рано или поздно «приосенить своими крыльями» все славянские народы. Впоследствии Герцен упрекал и Пушкина за ложный пафос «на доводы отвечать пушками».

Старая мечта о братстве славянских народов, обсуждавшаяся с Мицкевичем в Москве, в корне искажалась, приобретала реакционный характер. Вместе с тем оба поэта сходились на своеобразном отгораживании русско-польского вопроса от остальных вопросов общеевропейской политики. И Пушкин тут начинал не на шутку славянофильствовать: «Это спор славян между собою, // Домашний, старый спор, // Вопрос которого не разрешите вы». Точно так же это дело представлял себе и Хомяков.

О замолчите, битвы громы!
Остановись, кровавый бой!..
Потомства пламенным проклятьям
Да будет предан тот, чей глас
Против славян славянским братьям
Мечи вручил в преступный час!

Но отгородившись, Пушкин оставлял открытым важнейший вопрос: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? // Оно ль иссякнет?..» Он не подсказывал ответа, ответ пусть даст будущее. Хомяков же старался

дать ответ уже сегодня: соединение должно произойти под русским орлом¹.

Стихотворение Хомякова «Ritterspruch — Richterspruch» («Приговор рыцаря — приговор судьи») написано по делу революционера Канарского, расстрелянного в Вильне в 1839 году. Враг был повержен, самодержавие торжествовало. Хомяков как бы полемизировал с пушкинским стихом — «иль мало нас»: «А если вас много, убьете ли вы Того, кто охвачен цепями...» Но сходится Хомяков с другой мыслью Пушкина: «В бореньи падший невредим; Врагов мы в прахе не топтали». Не топтать, быть великодушным призывает и Хомяков: «Теперь он подьмет молящие длани: // Убьешь ли? о стыд и позор!»

При всем своем преклонении перед идеей панславизма Хомяков противоречив. В письме к А. О. Смирновой-Россет от 21 марта 1848 года он изложил свои взгляды на то, каким образом должна быть создана свободная, независимая Польша.

Пушкин не застал сложившегося славянофильства, но он застал процесс его формирования. Поддерживая «Европейца» Ивана Киреевского, Пушкин недоверчиво относился к трансцендентализму его издателя. Он отметил в статье Ивана Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года» «слишком систематическое умонаправление автора». Этот систематизм привел потом Киреевского к схоластицизму в чисто славянофильских построениях.

Несогласия Пушкина с «Письмом» Чаадаева обычно сводятся пушкинистами и специалистами по Чаадаеву

¹ Любопытно, что родные и близкие Хомякова считали, что он и Пушкин действуют в этом вопросе заодно. М. А. Хомякова записала: «Утешительно, что от поляков я не слыхала нападок на А. С. (Хомякова.— В. К.), и, думается, что когда-нибудь он и Пушкин будут равно дороги и нам и им» (ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 40).

к патриотизму Пушкина, который не разделял пессимизма своего друга. Но возникает вопрос: в какой мере Пушкин тут совпадал с несогласиями славянофилов? Пушкин еще в 1834 году спорил с попытками Н. Полевого механически применить к истории России «...мысли и формулы, выведенные Гизотом...»¹. В набросках статьи (1834), отражавшей те же размышления, Пушкин предварял некоторые идеи своего ответа Чаадаеву: «Долго Россия, — писал он, — оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-католического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния»².

Пушкин не хвалится отгороженностью России от остальной Европы. Но он тут же делает по внешности славянофильское заявление: «России определено было высокое предназначение». В чем же оно? Чаадаев в «Письме» этого вопроса не ставил. Для славянофилов это «предназначение» России заключалось в том, что она должна указать путь Европе, спасти ее от заблуждений, дать ей подлинное христианское просвещение, научить жить в духе мирной общины. Это миссия спасительницы, и осуществление ее в будущем. Пушкин в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года говорил о вылавшем на долю России «особом предназначении», осуществление которого уже состоялось: Россия остановила нашествие татар. «Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...» Тем самым Россия — давняя участница в судьбах Евро-

¹ А. С. Пушкина. Полн. собр. соч., т. XI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 127.

² Там же, с. 268. Не исключено, что в этих высказываниях Пушкина отразилось влияние на него «Писем» Чаадаева, которые поэт читал в рукописи все, задолго до публикации первого из них в «Телескопе» 1836 года.

пы. Хотя и медленно, в ней совершались те же процессы. Чуждость ее Европе все больше исчезала. Наконец, при Петре I «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль,— при стуке топора и при громе пушек... и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы»¹. Тут весь ответ Пушкина славянофилам на вопрос: благо или не благо реформы Петра? Тут и ответ Чаадаеву, не видевшему, что Россия уже давно европеизировалась. Совсем «другая» история России, по Пушкину, заключается в том, что на нее не надо накладывать трафареты европейской истории. Но Пушкин развивает, а не оспаривает коренное положение Гизо, высказанное в «Истории цивилизации в Европе»: все цивилизации народов Европы обнаруживают некоторое единство. Как входит в эту цивилизацию русская цивилизация — это и выясняет Пушкин в письме к Чаадаеву.

Пушкин говорит о реальной русской истории и ее единстве: Олег, Святослав, наконец, Петр I, Екатерина II, Отечественная война 1812 года — разве это не реальная история? Пушкин писал: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал»². Тут ответ и славянофилам: исконные «начала» русской народности и влияние Европы — единый процесс. Любить русскую историю надо без изъятий.

Кодыбелью славянофилов старшего поколения был кружок русских шеллингианцев, то есть «любомудров». А главной его фигурой бесспорно был Дмитрий Веневитинов. Славянофилы и позднее чтили его память. Любопытно было бы осмыслить связи славянофилов с Веневитиновым. В какой степени он их предшественник, в какой степени они сами были «любомудрами»?

¹ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI, с. 269.

² Там же, т. XVI, с. 393 (перев. с франц.).

В личном плане контакты были самые тесные. Собирались у Веневитинова. Во многом юный поэт разделял декабристские настроения. О женах декабристов, отправившихся к мужьям в Сибирь, он сказал: «...это делает честь веку». Весьма были памятливы встречи с декабристами, и он читал этих людей. В Петербург в 1827 году Веневитинов приехал с Федором Хомяковым, старшим братом Алексея Степановича Хомякова, и с господином Воше, французом, перед этим сопровождавшим Екатерину Трубецкую в Сибирь. Видимо, Воше поделился с попутчиками своими впечатлениями. По прибытии в Петербург Веневитинов был вызван для допроса в полицию, что на него произвело потрясающее впечатление. Может быть, это обстоятельство и ускорило его смерть, наступившую через четыре месяца. О тоске, не покидавшей его в те дни, он писал Погдину.

Но развивались у Веневитинова и прославянофильские мотивы. Д. Д. Благой, например, исследуя взгляды поэта, оставляет открытым ответ на этот вопрос: «Трудно сказать, как пошло бы дальше развитие Веневитинова — критика и идеолога... Классово-общественная среда как будто бы толкала его к славянофильству. Недаром славянофилами оказались все его ближайшие друзья, в том числе и мечтавший некогда вместе с ним о наступлении для России «великого 1789 года» А. И. Кошелев. Зачатки славянофильских идей несомненно имелись в ряде высказываний самого Веневитинова»¹.

Хомяков в специальной статье о Веневитинове («Библиотека для воспитания», 1844, ч. I) отводил поэту большое место в русской литературе и в истории общественной мысли, явно имея в виду ту ее ветвь, ко-

¹ См. вступ. статью Д. Д. Благого в изд.: Д. В. Веневитинов. Полн. собр. соч. М.—Л., «Academia», 1934, с. 44.

торуую теперь представляли славянофилы. Хомяков считал Веневитинова предтечей славянофилов. «С Веневитиновым, — писал он, — бесспорно начинается новая эпоха для русской поэзии, эпоха, в которой красота формы уступает первенство красоте и возвышенности содержания» (то есть она противостояла «гладкописи» пушкинской эпохи. — В. К.). Но точнее Хомяков выразился и о самом содержании: «...его явление было утешительным признаком начинающегося более самобытного и зрелого просвещения в России»¹.

В декларациях Веневитинова следует различать два момента: весьма плодотворное требование от поэзии и критики, чтобы они выражали целостное философское мировоззрение, и непродуктивное требование, чтобы такой философией стало шеллингянство, в котором уже тогда обозначалась тенденция к религиозной мистике.

Славянофилы приняли обе части программы Веневитинова и подчинили ее своей доктрине. Неизвестно, как Веневитинов отнесся бы к самому учению славянофилов: ведь ему был близок и мятежный байронизм, и гетеанская гармония. Но в творчестве его было много родственных славянофилам мотивов. Это и шеллингянский пантеизм, растворенность субъективного «я» в органической целостной природе. Таковы же стихи Хомякова «Заря» (1825), «Молодость» и «Желание» (оба 1827 года). Веневитиновская тема об особой миссии поэта, вероучителя:

Не много истинных пророков
С печатью власти на челе,
С дарами выпренных уроков,
С глаголом неба на земле...

и была подхвачена Хомяковым:

¹ А. С. Хомяков. Соч., т. I. М., 1914, с. 393.

Он к небу взор возвел спокойный,
И богу гимн в душе возник;
И дал земле он голос стройный,
Творенью мертвому язык.
(«Поэт», 1827)

Хомяков придавал особую русскую «огласовку» немецкому идеализму и романтизму.

Славянофилы выработали, как им казалось, самый широкий взгляд на жизнь, смеялись над политиками, эмпириками, сулили и обещали вывести Россию и человечество на истинный «не мертвый» путь.

Шеллингианские тезисы о необходимости «самопознания», о том, что «цель человека есть цель всего человечества», развивались Веневитиновым в том именно направлении, в котором пошла и мысль славянофилов, исходившая из тех же предпосылок. «С сей точки зрения,— писал Веневитинов в статье «Несколько мыслей в план журнала», ставшей программой их совместного органа «Московский вестник»,— должны мы взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет свои нравственные усилия, ознаменованные печатью особенного характера»¹.

Тут уже намечается идея отгораживания всего русского как особенного. Со временем последователями Веневитинова все больше забывалась общая цель человечества. Им даже казалось, что особенность народа обрисовывается тем более ярко, чем сильнее он отгородится от остального человечества.

Самопознание возможно через просвещение, а просвещение должно расти из своего корня. Это положение будущего славянофильства есть уже у Веневитинова: «У всех народов самостоятельных просвещение развивалось из начала, так сказать, отечественного»². В чем оно?— поэт ничего внятного сказать не мог.

¹ Д. В. Веневитинов. Полн. собр. соч., с. 216.

² Там же.

Но что Россия получила его извне, это казалось само собой разумеющимся. Отсюда — дух подражательности, отсутствие всякой свободы и истинной деятельности. Мысли чаадаевские, но уже в перевернутом виде: со скорбью говорится о поисках выхода из «наружной формы образованности». Отсюда — «мнимое здание литературы», рожденной в России «без всякого основания», «без всякого напряжения внутренней силы». Чтобы развить внутреннюю энергию, необходимо изолироваться. Веневитинов прямо предвещал славянофильство в таких своих заявлениях: «Для сей цели надлежало бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание и, опираясь на твердые начала философии, представить ей полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение»¹.

Славянофилы намеренно отгораживали Россию от Европы, навсегда отвращали ее взоры от всего происходившего в мировой литературе и, сами опираясь на маловажных теоретиков (Ботен, Баадер), старались заложить философские основания для русской «самобытности». Они доводили мысль Веневитинова до полного абсурда.

Из «любомудров» к славянофильству пришли Иван Киреевский и отчасти Хомяков. Из кружка Н. В. Станкевича вышел Константин Аксаков. В обоих случаях перед нами «любомудрие». Возникает вопрос, в каком отношении «любомудрие» Станкевича и поэтов его кружка связано со славянофильством.

Заодно с «любомудрами» Станкевич разделяет шеллингианскую идею о «руководящей идее», о «народах — личностях». Но жизнь «идеи в себе» его не удовлетво-

¹ Д. В. Веневитинов. Полн. собр. соч., с. 216.

рыля. Он писал М. А. Бакунину весной 1840 года из Рима, что идея должна перейти в дело¹. Как и у Белинского в период «примирения» (и у Бакунина до 1840 года), в сознании Станкевича на первое место становится практика, опора на историю и даже на государство. Он хочет уйти от абстрактного толкования «личности» и «народности». И то и другое реализуется, по мысли Станкевича, в государстве. Отсюда элементы «примирения» с действительностью. В письме Станкевича к супругам Фроловым из Эмса от 13 июня 1839 года читаем: «Я теперь более и более убеждаюсь в том, что утверждает Гегель: что сфера государства есть одно спасение от субъективных *Launen* (причуд.— В. К.), что здесь человек находит себе *Halt* — опору»².

Станкевич, как и Белинский и несколько раньше, до отъезда за границу, их друг Бакунин, считал, что оптимизм можно обрести в «примирении с действительностью». Но не в чисто филистерском смысле, как скажем, у Шевырева, а чтобы правильно разрешить вопрос о свободе и необходимости,— в конечном счете найти реальный выход к активному деянию.

Станкевичу не понравилось фантазерство в романе Ж. Санд «Леоне Леони». Он против бесстрастного соединения добра и зла: в жизни так не бывает. Он ощутил внутреннюю боль истории, что было уже и симптомом выхода из «примирения». Отсюда у Станкевича в конце его короткой жизни — конкретность подхода к общественным проблемам, пытливое проникновение в закономерности действительности. Он разошелся бы с славянофилами, так как они только повторяли свои спллогизмы, двигаясь в замкнутом кругу. «Чего хлопочут люди о народности? — записал в дневнике Станкевич, словно прислушавшись к начавшимся спорам

¹ «Переписка Н. В. Станкевича». М., 1913, с. 672.

² Там же, с. 680.

славянофилов.— Надобно стремиться к человеческому, *свое* будет поневоле»¹.

Он, по сути, спорил с Шевыревым, объявлявшим направление Гегеля фальшивым для России. По его мнению, Гегель для России так же подходит, как и для Германии. В письме к Фроловым от 13 марта 1840 года из Рима он заявлял: «...что правда для немца, то правда и для русского...»² То есть, по мнению Станкевича, немецкая философия вполне может «вкорениться» в России.

В момент «примирения» с действительностью Станкевича и Белинского славянофилы внешне были большими оппозиционерами, чем они. На деле же Станкевич и особенно Белинский хотели покончить с априорным, волюнтаристским «отрицанием» действительности. Эта их теория питала и критический реализм в литературе. Славянофилы же оставались на исходных романтических позициях.

Константин Аксаков должен был отколоться от кружка Станкевича, порвать с ним. Он не разделял ни его западничества, ни его стремления перейти от Шеллинга к Гегелю. И это повредило К. Аксакову, остановило его духовное развитие. Что же он принес из кружка Станкевича в славянофильство? Полноту внимания ко всей немецкой идеалистической философии, с переменчивым интересом то к одному, то к другому философу. Слово придя с вечера у Станкевича, Константин Аксаков записал в «Дневнике» о своем приобщении к высшему «любомудрию»: «Я не знал никаких немецких философий: недавно я узнал систему философии Канта, Фихте, Шеллинга; как взволновалась душа моя! Особенно философия Фихте заставила меня задуматься; это чудная философия, все выводящая из своего

¹ «Из дневника», 1837 г. «Переписка П. В. Станкевича», с. 754.

² Там же, с. 688.

«Я»¹. Субъективизм никогда не претил славянофилам, и Фихте вполне устраивал Аксакова. Но и к Гегелю он был ближе других своих единоверцев. В отличие от Ивана Киреевского, любившего в диалектике момент покоя, Аксаков любит само движение, отрицание отрицания. Он знает, что «сомнение» — мать познания. В том же «Дневнике» есть запись: «Сомнение — вот слово, вот острый меч, рассекающий все, ничто не убежит от него, ни даже истина нашего бытия»². Но диалектика выветрилась у Аксакова в его славянофильских выступлениях. Осталась только склонность к парадоксам, игре синонимами.

Поэтическое творчество Константина Аксакова мало отразило философские интересы. У него можно позднее уловить лишь отголоски шеллингианского учения об искусстве, не заинтересованном в мирских делах («Орел и поэт», 1833). В остальной же части его поэтическое творчество почти с самого начала было настроено на славянофильский лад с желанием «громить торжественным глаголом» (см. «Я видел Волгу, как она...», «Воспоминание», «Когда, бывало, в колыбели...», «Мечтание» и др.). Он хвалил все русское, Москву, сельскую жизнь и проклинал городскую суету. И все это резко отделяло его от Станкевича и делало явным последователем Хомякова.

Особый интерес будущих славянофилов вызывал Баратынский. С 1826 года поэт безвыездно жил в Москве и в Муранове. В светском кругу он почти не появлялся. Но с некоторыми славянофилами, в частности с Иваном Киреевским, был в дружбе и переписке (самое большое число писем адресовано ему). Тесные контакты приходится в основном на первую половину 30-х годов. Доктрины славянофилов Баратынский не разделял. Он был «слишком» поэтом пушкинской эпохи.

¹ ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 31, л. 14.

² Там же, л. 10.

Чувство страшного одиночества после 14 декабря 1825 года заставило Баратынского, в прошлом друга А. Бестужева и Рылеева, искать связей с новыми людьми. Он обсуждал с Иваном Киреевским дела журнала «Европеец». Запрещение журнала навело на него «хандру». Баратынский предлагал: «...будем мыслить в молчании...» Отсюда и «поэзия мысли». Чуть позднее он писал Киреевскому о своей полной изоляции в жизни: «Я давно выпустил из виду общие вопросы для исключительного существования»¹. А славянофилы в это время как раз погружались в «общие вопросы», выработку своей доктрины.

В поэзии Баратынского были ноты, которые перекликались с некоторыми поэтическими формулами славянофилов. В отдельных случаях даже приоритет принадлежал последним. Стремление Баратынского «идти своею дорогой», создание философской лирики ставило его в преямственные связи с поэзией «любомудров» и славянофилов.

В стихотворении «Последний поэт» (1835) Баратынский элегически выразил одну из своих заветнейших идей: «Век шествует путем своим железным», то есть век индустриального, европейского развития, враждебного подлинной поэзии². «Все мысль да

¹ Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., Гослитиздат, 1951, с. 524.

² Эта классическая формула закрепилась за Баратынским в русской поэзии. Но рождалась она коллективными усилиями и исподволь. Пушкин еще в 1829 году, приветствуя выход в свет «Стихотворений» Дельвига и посылая ему из Москвы в Петербург статуэтку бронзового грифа, написал: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы? // В веке железном, скажи, кто золотой угадал?» (опубликовано в 1830 г.). Думается, от поэтической формулы Пушкина появились позднее и стихи Фета в честь Тютчева: «На льдинах лавр не расцветет», «У чукчей нет Анакреона». Слишком запоминался резкий поэтический ход мысли, броская контрастность образов, но содержание, разумеется, вкладывалось разное.

мысль»,— восклицал Баратынский в другом стихотворении, считая, что рационализм убивает подлинное вдохновение.

За семь лет до «Последнего поэта» и независимо от Пушкина в стихотворении Хомякова «Три стакана шампанского» уже говорилось: «...наш век есть век чугуный», и этот черствый век противопоставлялся лучшему, воображаемому миру, где есть дружба, любовь. За четыре года до «Последнего поэта», в стихотворении Хомякова «Разговор» (1831) уже можно было прочесть:

И эгоизм, как червь голодный,
Съедает наш печальный век.
Угасло пламя вдохновенья,
Увял поэзии венец
Пред кладным утром размышленья,
Пред строгой сухостью сердец.

Мысль о несовместимости современного века с поэзией была устойчивой у славянофилов и варьировалась ими на разные лады. В 1846 году Иван Аксаков в послании к поэтессе Юлии Жадовской разрабатывал сходные элегические мотивы:

В наш век пересуда, страдальческий век,
Сомнений, вопросов, раздумья,
Стал скуден душой и бежит человек
Порывов святого безумья.

А ведь еще несколько лет тому назад Н. А. Полевой воспевал «Блаженство безумия» (так назван у него один из романов), совсем недавно «поэтический беспорядок» считался признаком настоящего вдохновения (такова, например, поэзия Языкова).

Баратынский мог сойтись со славянофилами в критическом отношении к пушкинской «Сказке о царе Салтане...». Вообще, как и Хомяков и Языков, он не одобрял литературных обработок сказок, полагая, что

фольклор должен сохраняться в нетронутом виде. Он многого ожидал от «Дмитрия Самозванца» Хомякова и, только по слухам зная о «Борисе Годунове», заранее ставил его ниже драмы Хомякова.

Но этим лемногим и ограничивались совпадения Баратынского со славянофилами.

Парадокс, но и бесспорный факт: «поэт мысли», Баратынский был, собственно, противником мысли в поэзии. Он ратовал за чистое, беспримесное вдохновение. И самому Пушкину советовал: «Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову». Славянофилы же были сторонниками программной гражданской поэзии, поэзии «своих мыслей». Они порицали «эгоизм» века, но свой эгоизм как сторонников определенной доктрины и догматики они прославляли и навязывали другим.

Баратынскому претил фанатизм подобного рода. Он считал, что «время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не наступило». Какая же это «другая» поэзия? В письме к Ивану Киреевскому в июне 1832 года он близко коснулся вопроса, от решения которого зависело сближение или расхождение его со славянофилами. Для создания новой поэзии недоставало именно новых сердечных убеждений. Он считал, что на Западе могут быть «фанатики идеи». Но то, «что для них действительность, то для нас отвлеченность», «мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые», «Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение»¹. Баратынский не разделял никаких иллюзорных убеждений. По линии такой самоуглубленности развивалась впоследствии и поэзия Лермонтова, чуждая ложных компромиссов. А пока, считает Баратын-

¹ Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, с. 520.

ский: «Поэзия веры не для нас»¹. Последние слова можно понимать двояко. У нас нет еще общественных идей («веры»), которые связывались бы с именами новых кумиров, своих Гюго и Барбье (имена французских гражданских поэтов называются в письме). Но Баратынский и против каких-либо эрзацев «поэзии веры» в буквальном смысле, он против поэзии религиозной, нехристианской или какой-либо иной. А именно такую особую «веру» и сочинят вскоре славянофилы, причем не в условиях реакции, а в условиях общественного подъема, в сороковых годах, и будут искренне воевать с представителями иных «сердечных убеждений». Тут-то и расходился Баратынский со славянофилами. Не они с ним, а он с ними порывал.

В самом конце жизни, во время заграничной поездки, Баратынский решительно обратился к Западу. В его понятии «веры» не было противопоставления России остальному миру. Наоборот, отсутствие в духовной жизни России той самой веры, которая питает «Ямбы» Барбье, он считал великим недостатком. В Париже он «залечил старые раны», то есть хандру. Его радует, что здесь «русские ищут русских...», «Самые ветреные из них догадываются, что у нас есть на сердце...»². Начались у Баратынского интересные встречи, замелькали в письмах имена новых знакомых: Виньи, Нодье, Сент-Бёв, Тьери, Гизо, Мериме. Баратынский надеялся познакомиться с Жорж Санд. Он анализировал поведение различных политических партий, он жаждал деятельности. Вот настоящее поприще для беспокойного духа и ищущего ума. Продуктивного энтузиазма, а не выморочного славянофильского «фанатизма» хотел Баратынский и для России, куда его теперь тянуло еще

¹ Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, с. 520.

² Там же, с. 533.

больше... Смерть не дала этим надеждам осуществиться.

Множество точек пересечения имелось у славянофилов и с Лермонтовым.

Как у декабристов и Хомякова, так и у Лермонтова и славянофилов некоторые идеи и образы росли как бы из общего корня.

В драме «Странный человек» (1831), во многом автобиографической, в уста спорящих героев-студентов вложены следующие слова: «Господа! когда-то русские будут русскими?» — «Когда они на сто лет продвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова... здорова». В «Измаил-Бее» (1832) героя-черкеса автор утешает таким образом: «Пускай ты раб, но раб царя вселенной», царской России пророчится роль «нового грозного Рима» со своим Августом... О самом же герое, потерявшем родину, сказано, что он «Развратом, ядом просвещения в Европе душной заражен!». В «Умиравшем гладиаторе» (1836) о гниющем Западе есть такие строки:

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою...

По-славянофильски звучат и заявления в поэме «Сашка» (1839), опубликованной уже после смерти автора: «Я враг Неве и невскому туману», там «...веселье вредно русскому карману. // Занятия вредны русскому уму».

Лермонтов, автор «Песни про купца Калашникова», нравился Хомякову: как изумительно постиг поэт дух народного творчества! Он воспроизвел старину, нарисовал образ патриархального купца, праведника, исполненного чувства чести и собственного достоинства, осудил грозного царя — деспота, его опричнину.

Все это импонировало славянофилам¹. Произведения Лермонтова были любимым чтением в их кругу. Елизавета Елагина (сестра Ивана и Петра Киреевских) писала отцу за границу 22 февраля 1843 года об одном вечере, когда у них собрались гости: Герцен с женой, Н. Х. Кетчер, А. Д. Галахов, Боборыкин, Константин Аксаков, Языков, Свербеев: «Грановский привез 8 новых чудных пьес Лермонтова, которые Кетчер прочитал вслух и по песням успели переписать...»² Хомяков

¹ А. П. Елагина рассказывала П. А. Висковатому: «Жаль, что Лермонтову не удалось ближе познакомиться с сыном моим Петром — у них некоторые взгляды были общие» (см.: П. А. Висковатов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1891, с. 368—369). М. К. Азадовский высказывал предположение, что Лермонтов, создавая свою «Песнь про купца Калашникова», читал не только Киршу Данилова, но и рукописные исторические народные песни, собранные Петром Киреевским, вероятно, не без ходатайства Святослава Раевского (см.: М. К. Азадовский. Статьи о литературе и фольклоре. М.—Л., Гослитиздат, 1960, с. 212—259). Эту версию поддерживает и А. Д. Соимонов в книге «П. В. Киреевский и его собрание народных песен». Л., «Наука», 1971, с. 272—273. И все же мы думаем, что этого слишком мало, чтобы говорить о «славянофильстве» Лермонтова.

² По-видимому, речь идет о восьми стихотворениях Лермонтова, которые затем Грановский переслал для публикации в «Отечественных записках». В № 12 за 1843 г. в этом журнале появились стихотворения Лермонтова: «К портрету старого гусара», «Незабудка», «Избави бог от летних мушек...», «Смерть», «Романс К***», «Они любили друг друга так долго и нежно...», «Когда весной разбитый лед...», «Ребенка милого рожденье...». Редактор Краевский сделал при публикации следующее примечание: «Счастливым случаем доставил нам в руки еще *восемь* стихотворений Лермонтова. Несмотря на то, что некоторые из них носят на себе печать таланта далеко незрелого и принадлежат к эпохе самой ранней юности покойного поэта, мы решились напечатать их, почитая драгоценною всякую строку, написанную Лермонтовым. Повторяем свою просьбу к тем особам, которые имеют у себя его стихотворения еще не известные публике, не скрывать их долее и обнародовать посредством журналов. «Отечественные записки» всегда готовы в этом случае служить им посредником, как были и до сих пор предпочтительно перед другими журналами» («Отечественные записки», 1843, т. XXXI, № 12, отд. 1, с. 194).

хвалил Лермонтова за мастерство стиля в «Бэле». Подлинная мощь таких романтических поэм, как «Мцыри», нравилась в этом кругу. Свою поэму Лермонтов читал в 1840 году в доме Погодина на Девичьем поле, где присутствовали Хомяков, Самарин и Гоголь.

Иван Аксаков ознакомился при помощи А. О. Смирновой-Россет с письмом поэта к С. А. Бахметевой от первой половины августа 1832 года, в котором он описывал свои первые впечатления от Петербурга по приезде туда для учения в школе гвардейских подпрапорщиков. В письме Лермонтов говорит, что страшно скучает в здешнем свете, молча просиживает вечера в обществе и не может найти ключа к здешним умам. «Другой он был тогда», то есть гораздо лучше,— писал Иван Аксаков родным из Калуги в декабре 1845 года, когда поэта не было уже в живых¹. Иван Аксаков считает, что петербургский свет «испортил», «исказил», «отщеславил» Лермонтова. А между тем в поэте, по мнению славянофилов, были задатки для сближения с ними. Но «борьба» славянофилов за Лермонтова успеха не имела еще при жизни поэта.

Незадолго до своей гибели Лермонтов всерьез помышлял о выходе из военной службы, о журнальной деятельности: хотел издавать журнал, в котором видное место заняла бы тема Востока. Эти свидетельства собрал в свое время П. Висковатов.

Но Висковатов придал им явно тенденциозное толкование. Мы однажды уже рассматривали этот вопрос и пришли к выводу, что размышления о Востоке и о своем журнале у Лермонтова ничего общего с уклоном в сторону славянофильства не имели: «менять» Запад на Восток он не предполагал².

¹ См.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 1, ч. 1, с. 308.

² См.: В. И. Кулешов. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. Изд-во МГУ, 1958, с. 40—43 и др.

Конечно, Лермонтов сложен и противоречив, он умер так рано, его взгляды по некоторым вопросам еще не определились со всей четкостью. Он во многом оставался в страстных поисках и откликах на голоса жизни. Быть «русским» — его заветное желание. Но со всей определенностью вырисовывается антиславянофильская направленность общего пафоса его творчества, борца и патриота. Славянофил не бросил бы гневный стих: «Прощай, немая Россия». И мы знаем, такие стихи стоили поэту дорого, но они были истинным проявлением его великой, страдальческой, единственно верной любви к Родине, жажды, чтобы она перестала быть «страной рабов, страной господ». Для славянофилов Лермонтов был «байронистом», поэтом непримиримой «гордости» и «вражды», «безочарования» (слова Жуковского о нем). Богоборчество, «с небом гордая вражда», «демонизм» — все это отталкивало от Лермонтова славянофилов.

Нельзя согласиться с выводом В. Д. Спасовича, рассматривавшего вопрос о «байронизме» Лермонтова, что великий русский поэт был «человеком беспочвенным»¹. Он-де метался от одной родины к другой (Россия, Шотландия), от одной веры к другой (славянофильство, западничество). На это можно возразить следующее: Лермонтов как борец с самодержавием и крепостничеством за новую, «гражданскую» Россию совершенно ясен. Другое дело личные отношения: тут могли быть временные симпатии и творческие сближения.

Нельзя признать веским предположение Б. М. Эйхенбаума, будто в стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (опубл. в «Отечественных записках», 1840) Лермонтов под маской писателя вывел не самого себя,

¹ В. Д. Спасович. Соч., т. II, СПб., 1889, с. 351.

а Хомякова. Основанием для такого заключения послужил сохранившийся в «Чеченском альбоме» Лермонтова 1840 года рисунок карандашом, на котором изображен сидящий в кресле человек, похожий на Хомякова, а перед ним около камина — офицер, имеющий сходство с Лермонтовым. Эйхенбаум считает, что здесь изображена беседа, описанная в стихотворении. Перед нами ситуация, когда третий участник разговора, «журналист» (под которым, по мнению Эйхенбаума, надо разуметь Н. А. Полевого), еще не вошел в комнату, беседуют пока двое¹. Но в связи с предположением Эйхенбаума возникает множество недоуменных вопросов, на которые исследователь ответа не дает. Альбом принадлежал Лермонтову. Рисунок вряд ли можно рассматривать как «иллюстрацию» к стихотворению или его графический комментарий. Этим объясняется отсутствие третьего лица, «журналиста». Все три лица обозначены в заголовке стихотворения. Трудно согласиться с толкованием, что Лермонтов скрывается под маской «читателя». Какой же он читатель, особенно в соотношении с Хомяковым? Но главное в том, что речи «писателя» в стихотворении Лермонтова настолько не соответствуют хомяковским высказываниям о литературе и о жизни, что предположение Эйхенбаума повисает в воздухе как бездоказательное. Таким образом выпадает один из сильнейших аргументов в пользу того мнения, что Лермонтов в конце жизни начинал сближаться с славянофильством.

Необходимо специальное графическое, искусствоведческое исследование вопроса: рукою ли Лермонтова

¹ Б. М. Эйхенбаум. Литературная позиция Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 43—44, с. 63. Перепечатано в книге: Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 105.

сделан рисунок?¹. Может быть, рукою главного рисовальщика в славянофильском кругу Э. А. Дмитриева-Мамонова? Его многочисленные сохранившиеся рисунки очень похожи на этот рисунок по графике, особенно профиль Хомякова, которого он рисовал несколько раз и также карандашом (см. «Альбом А. П. Елагиной» в ИРЛИ). Представим себе ситуацию еще и психологически. Труднее предположить, чтобы Лермонтов по памяти сам рисовал себя и Хомякова уже после состоявшегося спора, воспроизводя камин со всеми его украшениями, облокотясь у которого стоит военный. Скорее все это рисовал кто-то с натуры, во время разговора. Лермонтов изображен в позе офицера, даже не отстегнувшего в салоне сабли, что было нарушением общепринятого этикета. Сабля откинута в сторону собеседника, и это как бы приобретает вызывающий смысл.

Обращает на себя внимание надпись по-французски на рисунке, как бы поясняющая его смысл: «Diplomatie civil et militaire» (дипломатия гражданская и военная). Ракурс рисунка весь дан как бы со стороны третьего лица, а не Лермонтова, который не поставил бы Хомякова в центр спора.

Самое же главное: как трактовать надпись? О какой дипломатии идет речь? Как загадочно здесь слово «дипломатия». Хомяков был «дипломатом» в спорах, это известно, но Лермонтов!.. Должен ли он тут играть роль некоего бравого «военного», который на хитроумные доводы интеллектуала «гражданского» отвечал побрякиванием сабли... Что-то не похоже на Лермонтова, автора «Думы» и «Героя нашего времени». Остается зада-

¹ В этом не сомневается Т. А. Иванова, сделавшая интересный доклад «Логика прочтения «Чеченского альбома» на Всесоюзной лермонтовской конференции в МГУ в 1972 году. Она выдвигает версию, что предметом разговора двух лиц на рисунке был только что вышедший роман «Герой нашего времени», что гораздо вероятнее, чем предположение Б. М. Эйхенбаума.

ча — доказать, что рисунок сделан рукой Лермонтова. В «Чеченском альбоме» есть один рисунок, по общепринятому мнению, заведомо не лермонтовский. Значит, мы имеем уже прецедент, в альбом рисовали и другие лица. Почему не предположить, что и этот рисунок сделан не Лермонтовым?¹ Конечно, решающее слово останется за чисто графической экспертизой. Она еще не проделана. Поэтому мы и приводим свои скептические доводы, которые помогли бы правильно решить вопрос.

Попытаемся выяснить, где происходил спор. Можно предположить: в салоне поэтессы К. Павловой, на Рождественском бульваре. Этот дом сохранился (№ 14). Он впоследствии принадлежал Н. Ф. фон Мекк, известной по переписке с П. И. Чайковским. Сейчас здесь государственное учреждение. Мы недавно осмотрели его. Здание перестраивалось, внутренние перегородки мешают представить себе прежний интерьер. Но в одном из кабинетов сохранился старинный камин, правда, видимо, с позднейшими украшениями². Сохранилась и парадная лестница с позолотой. Из биографии Лермонтова известно, что именно из салона Павловых поэт отправился на Кавказ в конце мая 1840 года³. Тут и

¹ Кстати сказать, Б. М. Эйхенбаум в указанной статье и считал, что рисунок не лермонтовский.

² А. А. Фет много лет спустя вспоминал этот камин: «...у Павловых на Рождественском бульваре <...> все, начиная от роскошного входа с парадным швейцаром и до большого хозяйского кабинета с пылающим камином, говорило если не о роскоши, то по крайней мере о широком довольстве» (А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 213). В весеннее время встречи Лермонтова с Хомяковым камин, естественно, не пылал, и потому он и изображен на рисунке холодным. Что касается пристегнутой сабли, то можно представить себе, что все происходит в кабинете, в мужском обществе, когда Лермонтов уже собирался в путь.

³ В. А. Мануйлов. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., «Наука», 1964, с. 132.

могла произойти у него встреча с Хомяковым. Об этом рассказывает очевидец Ю. Ф. Самарин¹.

Какие-то дружеские отношения завязались у Лермонтова только с Самариним, который ждал, когда же Лермонтов оторвется от своей «эгонстической рефлексии» и вполне станет «нашим», искупит лежащий на нем «великий грех» издания романа «Герой нашего времени». Через Самарина поэт передал для публикации в «Москвитяине» свое стихотворение «Спор» с просьбой не изменять в нем ни слова². В письме к Языкову 20 мая 1841 года Хомяков выражал озабоченность судьбой поэта, как бы он не попал под пулю черкеса на Кавказе, «а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор» (то есть прозаик)³. Во что бы вылились эти дружеские отношения, трудно сказать.

Творческая переключка шла издавна между Хомяковым и Лермонтовым. Присмотримся внимательнее к поэтическим мотивам той и другой стороны, темам непонятого, какого-то одинокого, исключительного бытия, предчувствия тайного смысла жизни, раскрываемого сознанию в избранные мгновения, пробуждающего коснеющую безмолвную вселенную. Многие мотивы Лермонтова мы можем встретить у Хомякова задолго до того, как они были замечены и закреплены в сознании как «лермонтовские». Звезды, поющие хвалу богу,— излюбленный образ Хомякова. В их веселом хороводе, в расчисленном порядке светил не радуется жизни лишь «одна звезда» — наша Земля. И это избранничество — тоже характерный прием романтика Хомякова, предваряющего романтика Лермонтова.

¹ «Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала Каролина Карловна Павлова. Он уехал грустный» (Ю. Ф. Самарин. Соч., т. XII. М., 1911, с. 56, пер. с франц.).

² Там же, с. 75.

³ «Русский архив», 1884, кн. 3, с. 206.

Уже в 1827 году у Хомякова звучали такие «лермонтовские» кадансы:

Одна, печально измеряя
Никем не занные лета,
Земля катилась немая,
Небес веселых сирота.

(«Поэт»)

Хомяков знает, как «надежда» «смертным вечно лжет», как тленно и тщетно все на свете, как пройдут века, народы сгинут, державы рассыпятся. И человек будущего хаоса поистине осознает, что «...горькая насмешка славы одна осталась от веков». В заключительном стихе зреет уже будущая лермонтовская знаменитая формула о потомке-гражданине, который с «насмешкой горькою обманутого сына» заклеит «промотавшегося отца».

Чувствуются элементы лермонтовских формул и в таких оборотах Хомякова, как «не презирай клинка стального» «в отделке древности простой», «на нем пыль забвенья», когда-то он «по латам весело стучал», а теперь его покрыла «едкая ржавчина времен» («Клинок», 1830). Вспомним лермонтовский образ кинжала в «отделке золотой», а теперь покрытого «ржавчиной презренья» в стихотворении «Поэт» (1838).

У Хомякова мы находим модели лермонтовских поэтических конструкций: «Я жить хочу! хочу печали», «Что без страданий жизнь поэта, и что без бури океан», «Он даром славы не берет», или: «Я ищу свободы и покоя», «И на челе его высоком не отразилось ничего». У Хомякова в стихотворении «Желание покоя» (1825) читаем:

Прости... Но нет! Мой дух пылает
Живым, негаснущим огнем,
И никогда чело не просияет
Веселья мирного лучом.

Он жаждет брани и свободы,
Он жаждет бурь и непогоды
И беспредельности небес!

У Хомякова, может быть у первого из русских поэтов, мы встречаем (в отличие от Жуковского) органическое слияние современной субъективной рефлексии и мотивов разочарования с экзотикой восточного пейзажа. Живительные источники недолги и могут лишь на какой-то миг удовлетворить жажду. Так, посреди чопорного Петербурга только салон Карамзиных казался Хомякову, как потом и Лермонтову, прибежищем от скуки и пошлости света. Лермонтовские «Три пальмы» и «На севере диком стоит одиноко...» уже предчувствуются в стихах Хомякова:

Так средь Аравии песчаной
Над степью дерево растет:
Когда его глубокой раной
Рука пришельца пресечет.
(«Вдохновение», 1828)

Или:

Так в недрах степи раскаленной
Среди губительных песков
Отраден оазис зеленый,
И пальмы тень, и ключ студеной,
И песнь счастливых пастухов.
(«В альбом С. Н. Карамзиной», 1832)

Когда вполне обозначились контуры славянофильской доктрины, тогда начался великий «спор» Лермонтова с славянофилами, и уже отдельные совпадения в мотивах и поэтических формулах ничего не значили. Например, выпады великого поэта против «надменных потомков», которые «жадной толпой стояли у трона», уже не таили в себе ничего славянофильского. Не было тут даже и рылеевской идеи о «переродившихся славянах»; это и не языковская «немецкая нехристь»; это — чисто лермонтовский политический спор с двором, с

убийцами Пушкина, которые являются Свободы, Гения и Славы палачами. И даже Дантес ему неприятен не потому, что он «французик из Бордо», а потому, что он, как и все придворные,— враг тех же ценностей. Русские аристократы поощряли его, чтобы он, «смеясь», «дерзко презирал земли чужой язык и нравы». Если уж они не пощадили русского гения и русской славы, то что же было спрашивать с иностранца! Впрочем, в своем известном ответе сыну французского посла де Баранту, приведшем в 1840 году к дуэли, Лермонтов заявил решительно, что и в России есть люди, которые не хуже, чем во Франции, понимают долг чести и могут постоять за себя.

Для характеристики взглядов Лермонтова и славянофилов характерны два знаменательных случая.

Однажды на страницах «Отечественных записок» столкнулись два понимания «родины». В ноябрьском номере за 1839 год появилось стихотворение Хомякова без заглавия, начинавшееся словами «Гордись! — тебе льстецы сказали». Тогда же оно появилось с различными купюрами в «Санкт-Петербургских ведомостях» и в «Маяке». Стихотворение вызвало самые различные оценки современников. Откликнулся и Лермонтов: его «Родина» (в автографе имеет название «Отчизна») появилась в «Отечественных записках» в апрельском номере 1841 года, то есть полтора года спустя. Не случайно оно было воспринято как своеобразный «ответ» Лермонтова Хомякову. Рационалистическому славословию Хомякова Лермонтов противопоставил «странную» свою любовь к отчизне, которую трудно изъяснить и победить рассудком. Любовь — это чувство глубинное, душевное, неискоренимое. В отвержении «славы, купленной кровью» Лермонтов сходиллся с Хомяковым, но тут же расходился с ним в неприятии «...темной старины заветных преданий» и «полного гордого доверия покоя», то есть «смирения», и сытого

самодовольства правящих верхов. Лермонтов, как и Хомяков, ищет иное величие России, не то, о котором трубят «льстецы», но и не то, которое нашел Хомяков. Для Лермонтова величие — в народе, в его обычаях, нравах, в его скрытой внутренней силе.

Был и еще случай обоим поэтам высказаться о величии России. Прах Наполеона в 1840 году был перенесен с острова Св. Елены в парижский Дом инвалидов. Хомяков написал по этому поводу свои стихотворения «На перенесение Наполеонова праха», «7 ноября» и «Еще об нем». Лермонтов написал «Последнее повоселье», а незадолго перед тем — «Бородино».

Наполеон для Хомякова — великий честолюбец, воплощение западного начала. Победил же его в 1812 году не русский меч, не штык, а «наша сила, русский крест!». В другом стихотворении у него повторяется рефрен: «Не сила народов повергла тебя». Самарин иронизировал в письме к Константину Аксакову: «До чего дошел Хомяков... — Наполеона повергла не сила народов, не общее восстание, а что-то другое»¹. Для Лермонтова, как известно, славяне — это «гордое племя», а не смиренное! «Приветствую тебя, воинственных славян святая колыбель...»

Простой воин, от лица которого ведется рассказ в «Бородине», является воплощением той народной силы, которая решила исход войны. Фраза у Лермонтова «ты жалкий и пустой народ», брошенная «великому народу» — французам, не сближает его со славянофилами. Лермонтов говорит тут не о французском народе, а о той «вздорной толпе», которая наживалась вокруг славы Наполеона.

Из Славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности — орудье палача,
И все заветные отцовские поверья
Ты им рубил, рубил силеча.

¹ «Русский архив», 1880, кн. 2, с. 275.

Лермонтов упрекает современную буржуазную Францию, которая забыла заветы Революции, забыла Веру, Славу, Гений, которыми Наполеон увенчал страну. Правда, Наполеон слишком идеализирован как романтическая, непонятая толпой великая личность, как спаситель Франции от кровавых смут после 9 термидора. Но хомяковская трактовка была бесконечно ниже этой. Она не содержала даже попытки разобраться в том, какую же историческую роль сыграл великий человек, над которым одержал победу русский народ.

Но не только Родина и Запад по-разному трактовались Лермонтовым и Хомяковым. По-разному они трактовали и Восток.

Уезжая в последний раз из Москвы в 1841 году, Лермонтов оставил для публикации в «Москвитянине» свое стихотворение «Спор». Тут символически, видимо, подытоживались его споры со славянофилами о Востоке. Лермонтов осуждал завоевательную политику царизма на Кавказе. Но он в то же время знал, что Восток от Тегерана и до Нила «опит глубоко уж девятый век». Вся его история — в прошлом. Похвальбы Шат-Горы (Эльбруса) могуществом, устойчивостью Востока не сбываются. Казбек более трезво видит положение вещей, хотя оно его и не радует. Связь с царской Россией несет с собой и тяготы, и новые испытания. Но исторически они оправдали себя.

Замысел «романической трилогии» (из трех романов) в прозе о трех эпохах: Екатерины II, Александра I и Николая I, которым был захвачен Лермонтов в самом конце жизни (свидетельство об этом со слов самого поэта дошло до нас через Белинского), многое бы прояснил. Широкий эпический размах замысла втянул бы Лермонтова в необходимость четко высказаться по всем вопросам русской истории и тем вопросам, которые ставились в «Философическом письме» Чаадаева, «Истории русского народа» Н. Полевого,

в произведениях Пушкина, в спорах западников со славянофилами. Сам размах замысла исключал славянофильскую узость, избранность в отборе фактов. Эта широта скорее вела к «Войне и миру» Толстого. Было что-то и античаадаевское в этом замысле, с охватом различных эпох русской истории, с ее падениями и восстаниями. Тут широта исключала предвзятость суждений. Широта диктовала аналитический, исследовательский подход, отыскание истин, а не дидактическое их навязывание, как это было свойственно крайнему западничеству и славянофильству.

Н. М. Языков — пример поэта, который много сделал для рождения славянофильства. А когда оно сложилось полностью, отдал ему себя. Ему принадлежат, как известно, самые острые, политические стихи в защиту этого движения. Он яростно напал на западников в 1844 году в стихотворениях «К ненашим» и «К Чаадаеву», которые своим почти доносительским характером возмутили всех честных людей и вызвали неодобрение и у некоторых славянофилов.

Либерализм Языкова был поверхностным и расплывчатым. Бывает так, что не самый ортодоксальный поэт движения создает самые звонкие стихи этого движения. Языков в 1824 году был автором стихов, которые долгое время считались рылеевскими и были опубликованы Герценом в «Полярной звезде» в 1859 году:

Свободы гордой вдохновенье!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.

Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепями, склонивши выю,
Она молилась за царя.

(«Элегия»)

Языков был ближе к А. Одоевскому, чем к Константину Аксакову, когда писал, что «рука свободного сильнее руки, измученной ярмом» («Песнь барда во время владычества татар в России», 1823). Константин Аксаков считал, что вооруженный раб опасен, что мечиковать из цепей не надо. После поражения декабристов Языков чтит память Рылеева («О, вспомни о нем, Россия...»). Но уже в этих звонких стихах был внутренний элегический надрыв, который не могли заглушить буйное буршество, разгулье молодое, певцом которого считался тогда Языков. Славя «святое мщенье», Языков был обескуражен молчанием народа. «Рылеев умер как злодей» в сознании многих и многих людей. И все это потому, — с отчаянием говорил Языков, — что:

Столетия грозно протекут,—
И не пробудится Россия!

Сознание того, что:

Еще молчит гроза народа,
Еще окован русский ум,—

вело Языкова к поискам новых, спасительных начал. Декабристский либерализм плодов не принес. Мучившая поэта загадка, почему молчит народ, толкала разгадать его душу. Но Языков в своих поисках ответа на этот вопрос пошел по ложному пути.

Первые близкие к славянофильству стихи и заявления он сделал вполне самостоятельно, без посторонних внушений. Его когда-то привлекали Боян, Дмитрий Донской, Евпатий Коловрат, вольный Новгород, шум народных мятежей, вече. Но недаром Языков писал В. Д. Комовскому осенью 1831 года: «...я перейду из кабака — прямо в церковь!! Пора и бога вспомнить»¹. В послании к А. Н. Татаринову (август 1826) он уже

¹ «Литературное наследство», т. 19—21, с. 51.

одобрял решение приятеля посвятить себя наукам, а не «немецкой вольности»: «Не наш удел ее порывы. Иною жизнью мы живы, // Мы славой славимся иной». Не верить чужому уму, не верить чужому богу призывает теперь вчерашний разгульный дерптский бурш. В послании к Ивану Киреевскому в 1831 году он взывал действовать «православно», надеясь, что тот в архивах, где служил, найдет «чисто русскую Россию».

У Языкова «пропагандистские» призывы славянофилов звучат почти вульгарно. Он в открытую говорит о «прямо русском» взгляде на вещи, о «своенородных вдохновениях». Бурш превращался в шовиниста. Он и Гоголя в 1841 году поздравляет с возвращением из «нехристи немецкой», то есть из-за границы. Во время заграничной поездки он сам хочет «прочь» убежать с рейнских берегов, на лоно русских «смеющихся долин».

В своих злых выпадах против «натуральной школы» и «богомерзкой» западной школы Языков не знал меры. Его упрекал в этом Константин Аксаков. Но поддерживал Петр Киреевский и оправдывал в мемуарах Д. Н. Свербеев. Однако процесс размежевания был объективный, так как раскол в московских кружках 40-х годов давно назрел. Языков и выразил этот процесс деления на «наших» и «ненаших» со всей своей «буршевской» бесшабашностью.

У славянофилов были друзья в русской литературе, казалось бы, внешне с ними не связанные. Таков был Тютчев. Правда, и с ним славянофилы породнились. В 1866 году Иван Аксаков женился на дочери Тютчева. Имения Абрамцево и Мураново, расположенные по соседству под Москвой, с этих пор как бы стали символизировать не только семейное родство Аксаковых и Тютчевых. Недаром Иван Аксаков является автором известной биографии поэта.

Справедливо одно из главных его умозаключений: «Тютчев как бы перескочил чрез все стадии русского

общественного двадцатидвухлетнего движения» и, возвратясь из-за границы, «очутился в России как раз на той ступени, на которой стояли тогда передовые славянофилы с Хомяковым во главе»¹.

Тютчев, конечно, неизмеримо превосходил славянофилов как поэт, как певец русской природы. Но некоторые убеждения их он разделял. Он даже сам просил Шеллинга не подчинять религию целиком философии, а оставить место и чистой вере. Это было конечным пунктом и в философских исканиях Хомякова и Ивана Киреевского. В статьях «Россия и Германия» (1844), «Россия и революция» (1848), опубликованных за границей, Тютчев развивал те самые панславистские и охранительные начала с возвеличиванием самодержавной и православной России и уничтожением крамольного Запада, которые были близки славянофилам.

В бедных селениях, в скудной природе родного края, края «долготерпенья», Тютчеву, как и Хомякову, чудились какие-то особенные задатки:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В красоте твоей смиренной.

Тютчев и славянофилы одинаково думали об особенной «стате» России. Есть знаменитый стих у Тютчева о России: «У ней особенная статья», ее «аршином общим не измерить» (1866). У Ивана Аксакова в «Зимней дороге» (1847): «Свое чужим аршином мерить». Хомяков в Москве, а Тютчев в Мюнхене одинаково откликнулись на перенесение праха Наполеона в Париж. В стихотворениях обоих поэтов говорилось, что силу завоевателя сокрушила «освящающая сила», «подводной веры камень». Тютчев верил, что «утро с Востока встает», что Россия подыметя «в славе чудесной», «превыше всех

¹ И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, с. 63—64.

земных сынов». У Хомякова: бог отдал России «судьбу вселенной».

И общеславянское единение нашло у Тютчева поэтическое выражение в удивительно схожих с хомяковскими стихах: «Вековать ли нам в разлуке?» На пражских высотах «доблйй муж», видимо, в тех же, как и у Хомякова, «одеждах святого Кирилла», засветил маяк. И все славянские края оказались в лучах его:

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвою златоглавой
Вышеград заговорил.

У Тютчева это написано в 1841-м, у Хомякова в 1847 году. Так называемое «русское мирозерцание» Тютчева весьма напоминает славянофильское мирозерцание.

Славянофилы связаны с русской литературой крепкими нитями. Напрощивается еще одно сопоставление: славянофилов и петрашевцев. Когда в Петербурге в 1849 году арестовали петрашевцев, то Московский генерал-губернатор Закревский, постоянно следивший за славянофилами, сказал одному из своих приятелей: «Что, брат, видишь: из московских славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему? — Не знаю, ваше сиятельство, — *Значит*, все тут, — продолжал Закревский, — да хитры, не поймалешь следа». Так передает этот разговор Хомяков, который слышал его в Москве¹.

Равенство московских «заговорщиков» с петербургскими и особенно их умение маскироваться, конечно, только мерещилось генерал-губернатору. Славянофилы были далеки от политического заговора. Далеки они были и от общественных интересов петрашевцев.

И все же близость славянофилов и петрашевцев несомненна: они представляют собой две типологические

¹ См.: А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1904, с. 191.

разновидности русского романтизма 40-х годов, романтизм «консервативный» и романтизм «революционный», и оба связаны с утопиями, построениями идеальных общественных отношений. Личных контактов между ними, разумеется, не было. Речь может идти только о типологических соотношениях.

Как поэты-романтики петрашевцы еще в должной мере не осмыслены. А между тем их романтизм несомненен: «...любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний мир» (М. В. Петрашевский. Карманный словарь иностранных слов. Статья «Ода»). Для петрашевцев было исходным положение Фейербаха о том, что «человек — единственный, универсальный предмет философии»¹, а следовательно, и поэзии. Будущее общество они мыслили себе как всеобщее благоденствие всех и каждого.

В их критическом подходе к действительности, в сочувствии к бедным было много роднящего их с «натуральной школой». Некоторые из петрашевцев и были ее участниками (Достоевский, С. Ф. Дуров, А. И. Пальм). Здесь они решительно расходились со славянофилами, которые не принимали реализма в литературе, критики Белинского. Петрашевцы были «западниками» и поклонниками Белинского.

Конечно, учение петрашевцев о фаланстерах, их почитание системы Фурье и других социалистов-утопистов сильно отличало их от славянофилов. Но ведь и славянофил Петр Киреевский «начинал» с Сен-Симона. У петрашевцев — фаланстер, у славянофилов — община. То и другое было утопией.

Оба направления, каждое по-своему, защищали гражданскую поэзию. Петрашевец А. Н. Плещеев хочет «глаголом истины разить» («Любовь певца», 1845).

¹ «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев». М., Госполитиздат, 1953, с. 269.

Знаменитый гимн Плещеева «Вперед! без страха и сомненья» весь был построен на утверждении силы науки, под которую подразумевались идеи критические, социалистические и идеи примирения классов:

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам...

Не отказывались петрашевцы и от излюбленных еще декабристами эпитетов: «святой», «священный». Образ Спасителя — Христа не сходит со страниц поэзии славянофилов и петрашевцев. Но Христос-социалист получает у петрашевцев совсем иной смысл, чем у славянофилов. Веры церковной петрашевцы-фейербахианцы не признавали. Славянофилы же были ортодоксально православными.

И все же любопытна структура образа Христа-социалиста. Ведь таким он проходит и в знаменитом «Письме к Н. В. Гоголю» (1847) Белинского, в легенде о «Великом Инквизиторе» Достоевского. В стихотворении «Поэту» Плещеев восклицал о временах, «когда восстанет правды бог»:

Но будь гонимых утешитель,
Врагам озлобленным прости,
И верь, что встретишь, как Спаситель,
Учеников ты на пути.

В конечном счете, думается, этот образ получил свое завершение в поэме А. Блока «Двенадцать» и, может быть, в «Тринадцатом апостоле» Маяковского (так первоначально называлось его «Облако в штанах»).

Плещеев, как и все петрашевцы, первоначально отрицательно относился к славянофилам (его письмо С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 года)¹. Но во второй

¹ См. в работе В. И. Семецкого «Петрашевцы: С. Ф. Дуров, А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев». — «Голос минувшего», 1915, № 12, с. 64.

половине жизни он несколько сблизился с ними. В расплывчатых формах гражданской патетики он выразил свою скорбь в стихотворении «Памяти К. С. Аксакова» (1861), назвав умершего «испытанным бойцом», «защитником прав народа», девизом которого были «отчизна и свобода». Но такая позиция характеризует только Плещеева, вообще склонного к компромиссам. В целом же петрашевцы представляют совсем другой по своей политической направленности тип романтиков, чем славянофилы.

Итак, работая в «большом» русском романтизме 20—30-х годов, славянофилы соприкасались с его различными формами. Задолго до 1839 года, когда сформировалась их доктрина, славянофилы в поэзии уже высказывали ее отдельные положения. С конца 30-х годов они стали уже выражать ее и в поэзии как целостное учение, но славянофильский романтизм от этого сузился. Поэзия стала прямым голосом доктрины. И чем сильнее доктрина звучала в славянофильской поэзии, тем поэзия становилась суше, жестче, как бы ни старались сами поэты откликнуться на все голоса жизни, желая придать поэзии привлекательность.

Впрочем, и в чисто славянофильском творчестве было много своих достоинств. Все-таки оно было формой оппозиции, искреннего протеста против самодержавия и крепостничества.

**ПАТЕТИЧЕСКАЯ
СИМФОНИЯ
«РУСЬ!»**

Перейдем к славянофильской поэзии, драматургии, когда славянофилы выступили уже носителями и пропагандистами определенной доктрины. И так, они сложились уже как романтики «ретроспективной утопии». Эту утопию они блестяще (тут надо им воздать должное) пропагандировали своим творчеством.

Резкого разрыва связей с романтическим причетом не было. Переход к полному самоопределению произошел плавно. И все же особая осознанная программность новой славянофильской поэзии бросалась всем в глаза.

Славянофилам нельзя было отказать в особенной любви к России, ее могучей природе.

Полюса тематической амплитуды художественного творчества славянофилов обрисовываются следующим образом. На одном — историческое прошлое России, когда в единоборстве с пришельцами решался вопрос: быть или не быть Руси, и на другом — сегодняшняя полная сил Россия, однако озабоченная новыми вопросами: как лучше устроить русскую жизнь. Ответы давались самые пристрастные...

Два произведения наиболее характерны для этих исканий: драма Константина Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (1848) и поэма Ивана Аксакова «Бродяга» (1859).

В обоих произведениях изображаются народ, его история, его внутренняя жизнь. Нельзя не согласиться с Аполлоном Григорьевым, обращавшим внимание на главную особенность славянофильской любви к народу: для них «народ» не просто носитель «смирения», «бараньей покорности», он был для них «верованием», величайшим художником, поэтом и «даже мыслителем»¹. Конечно, это была тоже своего рода идеализация, только высшего порядка. Нельзя приравнять Аксаковых к автору «Бориса Годунова» и к автору «Кому на Руси жить хорошо». Тут разные регистры и различная направленность идей.

В драматургическом отношении «Освобождение Москвы в 1612 году» Константина Аксакова не так далеко ушло от «Дмитрия Пожарского» М. В. Крюковского (1807). Строй драмы и пружины сюжета классицистические, но она вся расцветена, с учетом опыта того же Пушкина, народными сценами. Есть в ней и эпический размах, и антибоярская гражданственность (образ Ляпунова), и документальность, повышающая внешний историзм, скрашивающая натяжки риторики.

Действие переносится из Москвы в Нижний Новгород и Ярославль, с Красной площади в дом Андрея Голицына, с Лубянки на Язу, где станом расположились русские ополченцы. Среди тридцати с лишним героев — бояре, дворяне, купцы, мужики, казаки, стрельцы, поляки, прочие иностранцы. Есть попытка у Аксакова изобразить «соборного героя» — народ. И все же, функция народа — чисто декларативная, он только резонер, комментатор происходящего, сам же реальной силы не имеет и на действие никакого влияния не оказывает.

Константин Аксаков был настолько ослеплен собственным новаторством, что предуведомлял в «Москов-

¹ А. П. Григорьев. Соч., т. I. СПб., 1876, с. 524.

ских ведомостях», накануне премьеры в 1850 году, в чем именно он полагал важность своего сочинения. Заметка не подписана, но чувствуется, что ее написал сам автор пьесы. «Ход и содержание ее совершенно новы: его драма без героя и без завязки... завязка драмы — важное историческое событие; герой — вся совокупность действующих лиц»¹. В предисловии Аксаков излагал свое драматургическое кредо: «Мне кажется, что вообще изящное произведение историческое (драма или повесть) должно быть художественным пониманием истории в известную ее минуту: драма должна быть верна относительно характера исторических лиц, эпохи и духа и значения». Но после Пушкина это были уже прописные истины: дело оставалось за их реализацией, за выяснением самого «художественного понимания» истории, «духа» эпохи и ее «значения».

Премьера в Москве была малоудачной, и спектакль не возобновлялся еще и потому, что пьеса была запрещена. Сохранилось любопытное цензурное дело. Оно показывает, как опасались власти попыток славянофилов по-своему живописать русскую историю, народные подвиги. Московский попечитель В. И. Назимов доносил для перестраховки в Петербург министру народного просвещения и начальнику Главного управления цензуры князю П. А. Ширинскому-Шихматову 18 декабря 1850 года по поводу привлечшей внимание упомянутой газетной заметки. Редактору «Московских ведомостей» (видимо, Е. Коршу) было сделано «строгое замечание» за неуместность аншлага о спектакле. Но петербургское начальство потребовало подробного отчета о спектакле, о котором уже поползли слухи.

¹ «Московские ведомости», 1850, 14 декабря. Сохранился текст заметки, написанный рукой сестры автора, Софьи Сергеевны Аксаковой: это лишний раз выдает семейную тайну рождения текста.

Чинovníк бутурлиньского комитета указывал: «Сама драма Аксакова, хотя и написана в духе православия, однако содержит в себе такие мысли, которые легко могут возбудить в простом народе враждебное расположение против высших сословий и вообще подать повод к превратным толкованиям». В доказательство цензор ссылался на монолог Ляпунова на стр. 69, 71: «Сочинение сие, по моему мнению, не должно бы быть допускаемо к печатанию в настоящем его виде и тем менее являться на сцене, где все указанные мною места становятся ощутительнее и могут вредным образом действовать на массу необразованных зрителей»¹. Назимову, давшему разрешение на постановку спектакля, пришлось подробно отчитываться и характеризовать публику и то возбуждение, которое, как оказывалось, вызвала пьеса Аксакова. Назимов доносил 13 января следующего, 1851 года в Петербург: «...во время представления этой драмы на Московской сцене прошлого 14 декабря (какое дурное предзнаменование в датах, 14 декабря.— В. К.) был в театре большой шум. На все возгласы актера при порицании бояр раек кричал: «Правда, правда». Особенно слова: «Глас народа — глас божий» — вызвали сильные рукоплескания и громогласное одобрение райка»².

Вспомним, что пьесу сыграли в самый разгар «страшного» семилетия царствования Николая I. А тут еще «громогласные одобрения райка».

Боярин Трубецкой бросает упрек думному боярину и воеводе Ляпунову: «Ты позоришь бояр, Прокофий Петрович». А тот раздражается многословной тирадой, напоминающей публицистические статьи самого Константина Аксакова: «А отчего ж бы их не позорить, ко-

¹ Центральный Государственный исторический архив (Ленинград) — в дальнейшем сокращенно — ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 2529.

² Там же.

ли того стоят? Разве не бояре изменники? Разве не Салтыков и не Куракин, не Мстиславский, не Шереметев, не Лыков предают веру и землю. Это настоящие знатные роды; а вон как они шатаются да предательствуют. Так их не корить!» А после обмена репликами с Заруцким следует новый монолог Ляпунова: «Виноваты много бояре. Много возгордились они. На черных людей свысока смотрят; их только христианами называют; видимое дело, что сами уж стали не христиане. Горько это; забыли, стало, что все мы братья и все христиане, все мы одной матери дети, все мы братья и сродники по Христовой вере и по русской земле. Пусть один боярин — при нем его боярство, пусть другой воин — при нем его воинство, пусть еще третий земледел — при нем его земледелие. Но ведь сегодня он земледел, а завтра боярин, а боярин — завтра земледел. Это все как случится, и как приведется, и какой талант, и что бог даст, а непременно и вечное то, что все мы, сколько нас ни есть, все братья, православные христиане и русские люди. А это-то мы и позабыли... бог нас и карает... эй, не забывайте земли русской и народа. Больше правды с простым народом... Так народ-то вы, бояре, не презирайте и над народом не высьтесь; ведь этим вы и сами себя осуждаете, и от братства себя отрываете. Не разрывайте земского союза, не забывайте народа...» Все это говорится на площади внутри стана, посреди оживленной толпы, казаки «ходят взад и вперед». А когда в другой сцене пришли послы со всех русских земель просить князя Пожарского возглавить ополчение, то присутствовавший при этом «мудрый дьяк» сказал: «Глас народа — глас божий» — слова, которые заставили всплеснуться нетерпеливый раек, а за ним всполошиться цензурное ведомство...

Замечательным событием, когда славянофилы вошли в круг современных интересов, была поэма Ивана Аксакова «Бродяга» (создавалась с 1846 по 1850 год, ча-

стично публиковалась в 1852, 1859 годах и полностью посмертно в 1888 году). В отрывках эта незавершенная поэма была известна современникам, обсуждалась ими и, наконец, подверглась гонениям со стороны властей¹.

В поэме Ивана Аксакова изображается, как из деревни бежал крепостной парень по имени Алешка, бросив родителей и возлюбленную.

Корнил, бурмистр, ругается,
Кузьма Петров ругается,
И шум, и крик на улице,
Три дня прошло, Алешки нет,
Пропал Алешка без вести.

Нанявшись каменщиком на строительстве большака, Алешка заработал деньги, приделся, досыта наелся. Потом, по совету бывалых людей, он захотел податься в вольную Астрахань. Аксаков набрасывает колоритные народные типы, красоту русской сельской природы. М. Горький вспоминал в «Детстве», какое большое впечатление произвел на него отрывок о дороге из этой поэмы, напечатанной в какой-то народной книге для чтения.

Прямая дорога, большая дорога!
Простору немало взяла ты у бога,
Ты вдаль протянулась, пряма как стрела,
Широкою гладью, что скатерть, легла!
Ты камнем убита, жестка для копыта,
Ты мерена мерой, трудами добыта!..
В тебе что ни шаг, то мужик работал:

¹ В цензорском донесении о «Бродяге» И. Аксакова — после публикации отрывков из поэмы в «Московском сборнике» 1852 года — было сказано: «Нельзя не заметить, что похождения бродяг и мошенников, взаимная их откровенность и советы друг другу, как избегать от рук правосудия, с обещанием в бродяжничестве приволья и ненаказанностей, могут весьма неблагоприятно подействовать на читателей низшего класса, для которых означенное стихотворение доступно будет по слогу и занимательно по происшествиям, взятым из простонародного быта» (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 2819).

Прорезывал горы, мосты настилал;
Всё дружною силой и с песнями взято,—
Вколачивал молот, и рыла лопата,
И дебри топор вековые просек...
Куда как упорен в труде человек!

В III Отделении И. Аксакова спросили: «Объясните, какую главную мысль предполагаете вы выразить в поэме вашей «Бродяга» и почему избрали беглого человека предметом сочинения?» Аксаков отвечал: «Оттого, что образ его показался мне весьма поэтичным; оттого, что это одно из явлений нашей народной жизни; оттого, что бродяга, гуляя по всей России как дома, дает мне возможность сделать стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах; оттого, наконец, что этот тип мне, как служившему столько лет по уголовной части, хорошо знаком. Крестьянин, отправляющийся бродить вследствие какого-то безотчетного влечения по всему широкому пространству русского царства (где есть где разгуляться!), потом наскучивший этим и добровольно являющийся в суд,— вот герой моей поэмы»¹.

Замысел поэмы, как видим, был обоснован автором широко. Никем из литературоведов не отмечались следы прямого влияния гоголевских «Мертвых душ» на Аксакова. Но это произведение произвело на Аксакова огромное впечатление. В письмах к родным в 1844 году из Астрахани он то и дело делится впечатлениями о произведении Гоголя.

И тема бродяжничества была отчасти навеяна Гоголем. В «Мертвых душах» говорится о том, как много числится русских крепостных крестьян в бегах, как они рвутся на волю, на Волгу. И фраза Аксакова на вопросе: «...где есть где разгуляться» русскому человеку

¹ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, ч. I, т. 2. М., 1888, с. 162—163.

«по всему широкому пространству русского царства» — в сущности, вольная цитата из Гоголя: «Что пророчит сей необъятный простор? ...Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» («Мертвые души», т. I, гл. XI). «Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!..», бегут мужики, и ловят их, бродяг, и допрашивают капитан-исправники, и изворачивается беглый, и про паспорт врет, и про оброк, и где был, и кто друзья его; и вот набивают бродяге колодки и ссылают куда следует. Тема поистине народная, нечего сказать¹. «Абакум Фыров! — продолжает Гоголь, — ты брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и влюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» (там же, т. I, гл. VII).

Отметим еще «гоголевские» места в «Бродяге», но для этого убедительнее обратиться к тексту Гоголя. «И в самом деле, где теперь Фыров? гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. ...вся веселится бурлацкая ватага... кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканиях, зацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот» (там же, гл. VII).

Красочное, с тем же веселым торжественным тоном, понуканиями и «крючниками» дано описание волжской пристани в поэме Аксакова:

¹ Она отразится и в «Антоне-Горемыке» Д. В. Григоровича (1847).

Гулом гудит, плеск волны заглушая,
Пристань речная, людна и шумна.
С криком и с бранью, и с дружным призывом
До свету вставший трудится народ,
Пестрым отвсюду нахлынув приливом...
Всем им работу река задает!
Всем ты кормилица, матушка Волга!
Видишь — какие грузятся суда!
Крючники! к делу! Что возгесь долго?
Хватят морозы — так будет беда!
Время! Уж много артелей намедни
В путь разбрелись, поделивши дуван;¹
Скоро и этот осенний, последний,
С хлебом в путину уйдет караван!

Городская гостиница в поэме «в два яруса, известной желтой краски» — в точности Калужская, где останавливались Белинский и Щепкин в 1846 году (год начала работы Аксакова в Калуге над «Бродягой»). В «Мертвых душах» Чичиков въехал во двор гостиницы, «она была длинна, в два этажа; ...верхний был выкрашен вечною желтою краскою...».

Впервые в русской поэзии так подробно были изображены все характерности деревенской жизни: страда, заботы нищеты и труда.

Благоприятный день! крестьяне дорожат
Таковыми днями севокоса,
И ни души в селе! разбросаны лежат
Телеги, снятые колеса,
Да по плетню кой-где развешано белье,
Под ним разостланы полотна.

Это все увидено глазами человека, погруженного в крестьянский быт. Не глазами пушкинского просветителя, «друга человечества», который еще абстрактно-риторически говорит «об измученных толпах рабов», и не глазами лермонтовского героя, с раздвоенным «странным» чувством видящего проездом «дрожащие огни печальных деревень». Мы в самой деревне. С присущей

¹ То есть выручку.

славянофилам документальностью Аксаков вводит подлинные народные песни, семейно-бытовые, трудовые, которые поют крестьяне, возвращаясь с покоса: «Ивушка, ивушка, зеленая моя», «Ехали бояре из Нова-города».

Матвей Лукич, отец беглеца Алешки, так отбрил «подругивать охотницу», жену старосты:

«Молчи ты, ведьма старая,
Вишь, отоцала, постница!»
И гул пронесся хохота,
Смеются все над бабою,
Над бабою Пахомовной!

Купцы, полы, откупщики, мещане.— все замелькало в поэме. Земский строчит донесение в суд: сыскать беглеца. Описано, как «земство обедает», как толпы ждут выхода начальства, как суют бумаги, просьбы. Это все — Россия, она увидена в низших социальных ярусах. Автор говорит о крепких узах круговой поруки, грабежа, которыми связаны чиновники, помещики, подрядчики, письмоводители (образ Макара Фомича и др.). Свой мир и у беглых: «А ты отколева?» — спрашивают они друг друга: из Вязников, владимирский, издалека, елабужский, из Дорогобужа, Ливн, Моршанска. И собрались они не на богомолье, как, например, в хомяковском стихотворении «Киев», где также перечисляются ходоки из разных русских земель, собрала их нужда, поиски заработка. Традиционные для романтических поэм разговоры юного героя со стариком, построенные на контрастах убеждений, настроений («Цыганы» и др.), здесь выглядят совсем иначе: это простой обмен опытом жизни, при общности судьбы. На большаке нищий получает разное подаяние, попадутся ли прохожие крестьяне или какой-нибудь Оболт-Оболдуев:

Крестьянин проходит — копейку подаст,
Помещик проедет — ни гроша не даст!

Недаром эти два стиха цензура вымарала в поэме.

Аксаков одновременно с «натуральной школой», но независимо от нее рисовал «физиологию» городской жизни, ее «пояса», «вершины» и «углы», окраинные «стороны», с кабаками и нищетой.

Кварталы есть в богатых городах:
Простым людям пришлось они на долю.
Там вечно грязь на низменных местах,
Там улицы уже выходят к полю;
Там каменных не встретишь ты палат,
Но всюду там гнилых и почерневших
Ряды домов, от времени осевших,
Или лачуг погнувшихся стоят:
В них окна низки, стекла перебиты,
Бумажками залеплены, прикрыты,
А на углу, на вывеске иной
Прочтешь слова: «Здесь вечно цеховой»

.....
Толпится там народ чернорабочий,
Лихой в труде, до кабака охочий.

Тут нет Невских проспектов. Старик бредет из «губернии народной», то есть из Поволжья в Вилково на Дунай, и он учит Алешку, как пробраться в Астрахань. И тут свои приметы, лица, клички, явки, пароли: окольной надо идти до Самары, там будет Павлушка Растечай, там бурлаки расскажут, там в кабаках состряпают билет, в Червонной же деревне Федька Косой выручит и в Астрахань направит. С необузданной разудалостью и дале путь прочерчен: а там гуляй хоть в Таганрог, в Ростов, а где остановиться надо, никто не знает.

Что гость в кабаке, то и подарок: цыгане, артели, с непокрытыми головами бабы, нищие, бывшие люди. Одна за другой рассказываются притчи и как Фома народ пить до пьяна научил, и о разорившем семью мещанине.

Кабак все шумнее, шумнее.
Беседа пьянее, пьянее...

Это не «Вакхическая песня» Пушкина, с ее изящным аристократизмом: «На звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте»,— тут солнце навечно сокрылось во тьме.

Уж стало темно,
От пару не видно...
Гостям не обидно,
Не так уж и стыдно,
Смелее оно!

Пародирована студенческая пирушка Языкова:

Боже! Вина, вина!
Трезвому жизнь скучна,
Пьяному рай!
Жизнь мне прелестную
И неизвестную,
Чашу ж не тесную
Боже, подай!

Но это уже не зазорные гимны буршей, а только отзвеневшие их отголоски. Некрасов из всех этих мотивов построит свой «Пир на весь мир». Тут общее в свободном сочетании разных «тонов».

И Груня, которая пошла по кабакам, это не вызывающая сострадание героиня из романов Жорж Санд или из некрасовского стихотворения «Когда из мрака заблужденья...», это горе без исхода, такое горе, когда никто и руки не подаст. Многие типажи Аксакова ведут к «Нравам Растеряевой улицы» Глеба Успенского и даже к пьесе «На дне» М. Горького в широчайшем аспекте.

Аксаков во второй половине 40-х годов в ряде мотивов предваряет сюжеты и темы Некрасова, автора «Железной дороги» и «Кому на Руси жить хорошо». Ведь у Некрасова шесть заспоривших мужиков тоже своего рода «бродяги», снявшиеся с места. И ритм отдельных стихов у Аксакова пронекарасовский, совсем еще необычный в тогдашней русской поэзии. Он слышится, например, в стихах:

Корнил, бурмистр, ругается,
Кузьма Петров ругается и т. д.

В «Железной дороге» Некрасов будет обсуждать, вслед за Аксаковым, также вопрос: во что народу обошлась дорога, то есть Николаевская чугушка, скольких трудов и слез она стоила?

Но не будем преувеличивать значения всех этих связей Аксакова с будущим русской литературы. Он был ограниченным истолкователем затрагиваемых им тем русской жизни, у него везде видна славянофильская философия.

Аксаков приглушил главный мотив бегства своего героя: просто захотелось побродить, свет увидеть. На допросе в III Отделении, о котором мы уже упоминали, Аксаков так и объяснял, что его герой пустился в бродяжничество из-за безотчетного желания побродить. Он не навсегда ушел, он обязательно вернулся бы домой с повинной. Ничего о гнете помещика, бурмистра в поэме не говорится. Это, конечно, снижало социальное ее звучание. Аксаков верил в общинный смысл крестьянской жизни, был романтически настроен по отношению к патриархальным ее устоям.

Советы Гоголя, прослушавшего «Бродягу» в домашнем чтении у Аксаковых (в 1850 году), к сожалению, углубляли именно эту ошибочную линию поэмы. Это был «поздний» Гоголь, сам путавшийся в противоречиях своего мировоззрения. «Все подробности, вся природа, одним словом, все, что окружает бродягу... сделано превосходно». А дальше Гоголь советовал: «Если в бродяге будет схвачен человек, то он будет иметь не временное и не местное значение. Надобно показать, как этот человек, пройдя все и ни в чем не найдя себе никакого удовлетворения, возвратится к матери-земле»¹. Возможно, Аксаков так бы и сделал, если бы поэму за-

¹ Письмо С. Т. Аксакова к сыну И. С. Аксакову от 17 января 1850 г. Цит. по изд.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. 2, с. 267.

кончил: крепок русский мужик русской земле, духу общины, нет ему жизни вне мира. Тут и аксаковский ответ, кому на Руси жить хорошо и как хорошо мужику в общине. Исследователи А. Дементьев и Е. Калмановский правильно считают: «Всеми своими достоинствами... поэзия И. Аксакова обязана тому, что она во многом отступает от славянофильского правоверия и следует за самой жизнью»¹. Славянофильская доктрина подчас губила самые смелые замыслы отобразить жизнь «меньшего брата».

Все многочисленные исповеди славянофилов на тему «Русь» можно уподобить патетической симфонии, построенной по законам своеобразного «контрапункта». Славянофилы не могли просто любоваться Русью, они усматривали символическое значение ее величия в каждой мелочи. Вид в Киеве с Владимирской горки на Днепр навевал Ивану Аксакову свои думы о «весне Руси»: Киев и Днепр — свидетели «чуда крещения», произведенного «без борьбы». Едет ли он по Владимирской земле на серные воды за Волгу лечиться, всюду перелески, чудо-луга, перекаты до горизонта; и чем дальше, тем природа богаче и мужик справнее, коренастый, живой, бодрый, умный, деятельный. Иван Аксаков не боится сказать «промышленный»: это слово еще не пугает его оттенком «индустриальности». Ему и невдомек, что мужики здесь богаче, чем в других местах, не случайно тут складывается новая Россия, край русского ситца. Писатель-демократ В. А. Слепцов потом опишет его в очерках «Владимирка и Клязьма» (1861). У славянофила — одни восторги.

С особенным чувством Аксаков всматривается в Муромские леса. Ведь тут где-то и Карачарово, откуда вышел богатырь Илья Муромец. Полный «гордого доверия

¹ Иван Аксаков. Стихотворения и поэмы. М., «Советский писатель», 1960, с. 30.

покой» баюкает Аксакова: «Мир одолел всю русскую землю... Нельзя передать того впечатления, того чувства мира и простора (как счастливо выразился Константин Аксаков, поставив рядом эти слова)¹, тишины, безопасности, доверчивости и силы»². А вот и центр всего пейзажа-миража: «И посреди всего этого сидит на козлах, в одной рубахе, царь и господин всего этого, русский крестьянин: душа его свободно вмещает в себе эту природу...»³.

Как несходно это лирическое излияние с гоголевской «Русью-тройкой». У Гоголя и крестьянин-то сидит «черт знает на чем», телега схвачена одним гвоздем. Ирония у Гоголя снимает патетику, а пробуждение и вовсе отрезвляет: «Держи, держи, дурак», — предупреждает Чичиков своего кучера. «А вот я тебя палашом», — крикнул проскакавший мимо Селифана фельдъегерь. Аксаков убаюкивает себя и переходит к чисто славянофильской похвальбе: ни одна природа не может быть так хороша, как русская. В какой-нибудь Швейцарии, — продолжает он, — конечно, горы хороши, но как-то «односторонни»; в них «тесно»: как будто в России и гор нет, одни степи. «В русском поле трудно запеть другую песню, кроме русской; та же простота, та же бесконечность, и даль, и ширина, тот же мир и та же тихо и легко разнообразная однообразность»⁴. Но Пушкину и Некрасову посреди этих же полей слышались песни подобные стону. Славянофилы же глухи к ним.

В стихотворении Хомякова «Русская песня» (первая половина 30-х годов) воспевается все та же великая земля Володимира, то есть Северо-Восточная Русь,

¹ Вероятно, имеется в виду послание Константина Аксакова к своему брату Ивану Аксакову (1846), где есть строки: «И мысля я: когда так мирно цветут зеленые поля...» и проч.

² «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1, с. 443.

³ Там же, с. 444.

⁴ Там же, с. 443.

явившаяся колыбелью возрожденного русского государства. Стихотворение восхваляет эту землю, которой никакой мор не страшен, где мужики богатеют, где в судах царит неподкупная правда. Страшится эта Русь только божьего гнева и суда. Она богата недрами, духовными ценностями! Эта Русь собрала вокруг себя остальные русские земли. И эти земли (Русь Малая, Русь Белая) объединяет ключ «веры ясной» («Ключ», 1835).

Так и поныне к древнему Киеву стягиваются паломники из разных русских губерний:

«Я от Ладоги холодной»,
«Я от спших вод Невы»,
«Я от Камы многоводной»,
«Я от матушки Москвы».
(Хомяков, «Киев», 1839) ¹.

В стихотворении «Сон» Константин Аксаков восславил предприимчивый старый Новгород как колыбель истинно русской самобытности. Поэту чудились картины чисто русской жизни, площади, полные народу, пестрые, забытые уже одежды, народный Собор. Здесь поют старые хвалебные миру и славе песни.

Впрочем, в своем кругу Константин Аксаков считался «почетным гражданином Москвы», и он по долгу чести и по убеждению считал себя обязанным воспеть великое значение Москвы в истории России. «И всю Россию называют // Великим именем твоим» («Москве», 1845).

Внешне может показаться, что поэты-славянофилы сумели поэтически отобразить одну из важных особенно-

¹ Это стихотворение очень понравилось Николаю I, наложившему на представленном ему списке резолюцию: «Недурно». С. С. Уваров, во всеподданнейшем докладе обративший на стихотворение «Киев» внимание царя, указывал, что Хомяков, «как кажется, мог бы один идти по стопам Пушкина, если б постоянно занимался своим искусством», и что он своим «глубоким религиозным чувством» совершенно отличается от Пушкина. См.: «Русский архив», 1885, вып. 9, с. 159.

стей русской истории — преемственное значение столиц и центров культурного государственного и национального становления России. Однако это не так, и дело не только в том, что выстраиваемый славянофилами ряд — Новгород, Киев, Владимир, Москва — не завершался Петербургом, который они отрицали, но и в том, что смысл истории фальсифицировался.

Поэтому искусственно взвинченный патетический образ Руси — вседержительницы божьей благодати — постепенно тускнел у славянофилов. В стихотворении «России» (1839), начинающемся словами: «Гордись! тебе льстецы сказали», Хомяков уже скромнее. Под льстецами подразумевались, конечно, ревнители «официальной народности», от которых поэт хочет открыто отмежеваться. Но главное не в этом: Хомяков отказывается хвалить Россию за ее внешние богатства, природу, просторы. Он знает, что она «увенчана», опирается на «несокрушимую сталь», то есть на николаевские штыки. Все это теперь в глазах «зрелого» славянофила потеряло ценность. Хомяков хвалит Россию за ее духовную, внутреннюю чистоту, ее верность церкви, православию. В этом теперь он видит ее главное могущество, все остальное — «прах», «ничто».

Бесплоден всякой дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка,
Но крепок ясный мир святости,
Сильна молящихся рука!

Как уже отмечал исследователь Б. Ф. Егоров¹, эпитет «гордый» выступает в лирике Хомякова в отрицательном значении, эпитет «смиренный», наоборот, выражает положительную сущность славянофильского учения.

Россия, принявшая в себя «глагол творца», в которой есть «и правда и бескровный суд», имеет ясное

¹ А. С. Хомяков. Стихотворения. Л., 1969, вступительная статья, с. 42—43.

предназначение указать путь западным странам, растерявшим религиозное благочестие под ферулой католического Рима.

Хомяков был трезвее многих славянофилов-собратий и не мог откровенно прекрасноразумствовать. Слишком влиятельным был в эти времена напор критической, обличительной деятельности «гоголевского направления» в литературе. Сначала Хомяков разглядел многие непорядки в обожаемой Древней Руси. В стихотворении «Не говорите: «То былое, то старина, то грех отцов...» (1844) он перечислил множество преступлений, измен, казней, которыми отягощена история России. Наши предки, упоенные враждой, не стеснялись звать чужие дружины на погибель русской стороны, разоряли вольный Новгород; московские князья запятнали себя двоедушием в политике, Иван Грозный убил собственного сына. В записке «О старом и новом» Хомяков, как мы помним, все эти темные стороны древней русской жизни излагал только как возможное и уже сложившееся западническое мнение, как допущение, опровергаемое другим мнением, о Руси. Теперь он перечисляет эти злодеяния без оговорок и сам присоединяется к трезвой правде. Более того, его собственная мысль отыскивает и более глубокие преступления князей и царей.

Преступление есть и в сознательно поддерживавшемся сверху «сне умов», в «гордости темного незнания». Самый же тяжкий грех, с точки зрения Хомякова-славянофила, заключался в следующем: этот грех наследовали потомки князей и бояр, нынешние помещики-космополиты:

И, обуяв в чаду гордыни
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной.

Константину Аксакову не понравился этот критический пафос Хомякова по отношению к Древней Руси,

и он написал опровержение «Поэту-укорителю» (1845). Аксаков считал, что Русь уже омыла покаянием все свои грехи. Не следует укорять «тяжко стонущий народ», народ — хранитель святыни. Однако Хомяков и не говорил о народе, он имел в виду только царей, бояр, дворян. Народ — их жертва. А призывы Константина Аксакова: «Нет, к нам направь свои укоры», «нас к покаянию зови», нас — дворян, привилегированные условия — отвечали и стремлению Хомякова.

Следующим звеном в симфонии «Русь!» было послание Хомякова «России» (1854), написанное во время Балканской войны. Казалось, история сама предоставила случай для осуществления давних желаний славянофилов, чтобы Россия выступила против турок со своей миссией освободительницы южных славян. Начиналась «брань святая». «Вставай, страна моя родная», — призывал Хомяков¹.

Россия предстает отягощенной многими грехами. Хомяков уже не хочет этого скрывать:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

Эти сильные строки, направленные против крепостного рабства и всего растления, которое ему сопутствовало, произвели глубокое впечатление на читающую Россию. Стихотворение Хомякова ходило в списках. Герцен напечатал отрывки из него в «Колоколе». Т. Г. Шевченко переписал стихотворение в своем днев-

¹ Может быть, в этой строке был услышан мотив той песни, которую сочинил В. Лебедев-Кумач в первые дни Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии: «Вставай, страна огромная...». Мы говорим о чисто формальном, поэтическом совпадении; в идеологическом же отношении это, конечно, совсем разные произведения.

нике 1857 года и назвал его «глубоко грустным». Власти грозили Хомякову высылкой из Москвы.

Нередко в современных дискуссиях это стихотворение приводится как самый крупный козырь в «пользу» Хомякова: вот какой он был обличитель. Обличение действительно сильное. Это пятистишие стало классическим, оно поражает падениями своих кадансов, как стопудовых гирь, тянущих вниз чашу весов неумолимой Немезиды. И все же пафос этого стихотворения — покаяние ради великой цели — в общем реакционный: «О, недостойная избранья, // Ты избрана!» Россия должна покаянием очиститься от грехов, чтобы тем самым лучше, с еще большим правом исполнить свою миссию. Быть «орудьем бога» нелегко, но господь тебя «полюбил», «тебе дал силу роковую», чтобы сокрушить турок:

Держи стяг божий крепкой дланью,
Рази мечом — то божий меч!

Но Севастополь развеял все эти надежды в прах. В конце жизни, как бы уже не зная, к чему привязать «чистую идею» православия и благочестия вообще, Хомяков пишет ряд стихотворений на библейские темы, полагая найти эту чистоту в истоках христианства, первых его утренних благовестях. Там он черпает и веру в конечную победу дела Христа. Реальная история оказывалась для него крайне неудобной, в том числе и русская история («Навуходоносор», 1849; «Мы род избранный,— говорили...», 1851; «Воскресение Лазаря», 1852; «Широка, необозрима...», 1858, и др.). Но и библейские сюжеты были полны страстей и противоречий...

Жизнь снова теснила славянофилов, заставляла признавать, что реальное положение вещей в России безрадостно и все меньше и меньше дает поводы для радужной идиллии. «Безмолвна Русь: ее замолкли города...», — грустил Константин Аксаков.

С презрением народ и русский человек
Клеймятся именем невежды.
Одежда русская — в наш просвещенный век —
Есть угнетенного одежда!

(1846)

Русь, как она мыслилась славянофилами, исчезала на глазах, патетическая симфония начинала превращаться в элегию, в плач по России.

Со всей слепотой фанатика Константин Аксаков проповедовал «возврат» к прошлому. Одно из его стихотворений так и называется «Возврат» (1845). Он считает преступлением то, что просвещенные дворяне забыли о России: «Мы бросили отечество свое», «пленились чужою землею». Теперь «пора домой!». Снова и снова сочинялась призрачная утопия, чтобы тут же развеяться, как дым.

Константин Аксаков искал последнюю опору в самом народе, в крестьянине. Выражал скорбь по поводу его «угнетенного» положения. Со всей искренностью хотелось послужить народу.

.....
Все откинул решительно я,
Взяв в замену труд жизни народной
И народную скорбь бытия.

.....
Пусть же людям весь мир разнородный
И любви и всех радостей дан.
Счастье — им! — Я кидаюсь в народный,
Многобурный, родной океан!

(«9 февраля», 1848)

Эта декларация — важная ступенька в развитии русской гражданской поэзии и в особенности старой хомяковской темы России. «Земля Володимира» обернулась народом без бояр; не праведным судом и достатком, а горем и нуждой. В обработке этой темы у К. Аксакова появилась особенная демократическая интонация, неожиданно по ритмам напоминающая Некрасова, кото-

рый тогда сам еще только складывался как поэт революционной демократии.

Но там, где ветхая лачуга,
Где честный обитает труд,
Где сталь косы, серпа и плуга,
Где песни старые поют;

Куда не вкралася измена
И не вошли ее дары;
Где только цепь чужого плена,
А не богатство и пиры,—

Оттуда дух грядущей жизни
Возникнет, полный сил благих,
Подаст свободу вновь отчизне
И разорвет оковы их!

(«Н. Д. Свербееву», 1847)

Но взглянемся пристальнее в контекст. Мы убедимся, что громкие слова о свободе от крепостничества, об инициативе народа в борьбе только преддверие к более важной для Аксакова идее о свободе, сущность которой, по его мысли, в разрыве с «пленом», то есть с послепетровскими нововведениями. Перед нами снова и снова сведение старых счетов с «подражательностью» правящих верхов во имя «самобытности» народа. Аксаков сам напоминал об ограниченном смысле своей гражданственности: да, никто его слияние с народом не спутает с западным либерализмом. На автографе стихотворения «9 февраля» имеется примечание: «Последней части стихотворения («Я кидаюсь в народный, многобурный родной океан!» — В. К.) не надо никак понимать в западном смысле. Напротив: борьба с Западом есть одно из главных. Кроме того, сам вопрос стал глубже и строже. *Основное* есть дело — нравственное, христианское. Надо помнить, что в русской жизни произносится: земское и божие дело»¹. Это «дело» скovy-

¹ Цит. по примечаниям С. И. Машинского в изд.: «Поэты кружка Н. В. Станкевича». М.—Л., «Советский писатель», 1964, с. 596.

вает динамику и других смелых, фрондерских стихотворений Аксакова. Например, такого, как «Грустно видеть, как судьба порою...» (1857) и др.

Но грустней, когда лежит тяжелый
Мрак на жизни целого народа,
И живет он скорбный, невеселый —
Силам нет свободного исхода.
Он раскрыть даров своих не смеет;
Смутно он свое призванье внемлет,
Слово робко на устах немеет,
Ум во тьме, душа пугливо дремлет.

Но пробуждение народа Аксаков надеется получить от «провидения», а осознавший свои силы народ возблагодарит судьбу и пойдет в мир «славить бога». Нет у Аксакова никаких других идей, кроме замирения сословий. Он не призывает вслед за «большой» русской литературой окунуться в море народной жизни, покарать угнетателей народа, восславить его свободолюбие. Аксаков искренне не знает, что ему делать со своим альтруизмом, как и народ у него не знает, что ему делать со своей свободой. Патетическая симфония «Русь!» не получилась, она оказывалась ложно величавой, ложно поэтической затеей.

Параллельно с симфонией о России славянофилами разрабатывалась и тема общеславянской жизни и солидарности¹.

Здесь также все начато в мажорных тонах, все о той же России — «ключе», у которого сойдутся рано или поздно все славянские народы, о России — «орле»,

¹ Стремление быть «поэтами славянства» надолго сделало их предметом апологетики в старых, дореволюционных работах: см., например, работы, вышедшие к 100-летию рождения Хомякова: Веди-Како. (Кораблев В. Н.). Памяти А. С. Хомякова. — «Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества», 1904, № 1; Д. Михайлов. Алексей Степанович Хомяков. — В кн. Михайлова «Очерки русской поэзии XIX века». Тифлис, 1904, и др.

который приосенит своими крыльями все эти народы. Таковы стихи Хомякова «Ода» (1830), «Орел» (1832):

И хлад сердец единокровных
Любовью жаркою согрей!

Славянофилы напоминали о дорогом чувстве: Россия не имеет права забывать о братьях славянах, которые в ущельях Карпат, Альп, в балканских лесах ютятся и ждут освобождения. Но тут слиты были две разные идеи: объединение Москвой исконно восточнославянских земель, собрание Руси и реакционные поползновения царизма, жаждавшего прихватить в XIX веке южнославянские и западнославянские земли.

Пожелания Ивана Аксакова при известном допросе в III Отделении в 1849 году, чтобы русские люди способствовали освобождению славян от турецкого, австрийского гнета, вызвали возражения царя: «...под видом участия к мнимому утеснению славянских племен таится преступная мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств и об общем соединении, которого ожидают не от божьего произволения, а от возмущения, гибельного для России!..»¹.

В 1860 году, в Лейпциге, славянофилы опубликовали книжку «К сербам», послание из Москвы с сербским переводом². Это был документ в связи с давними размышлениями о братьях славянах и последними событиями в Сербии, изгнанием в 1858 году Александра Карагеоргиевича и вторичным возвращением князя Милоша. Славянофилы навязывали свою доктрину другим славянским народам, подавали неуклюжие советы. Сер-

¹ См.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. 2, с. 154—155.

² Письмо подписано почти всеми московскими славянофилами: Алексеем Хомяковым, Михаилом Погодиным, Александром Кошелевым, Иваном Беляевым, Николаем Елагиним, Юрием Самариним, Петром Бессоновым, Константином Аксаковым, Петром Бартевым, Федором Чижовым, Иваном Аксаковым.

бам делали предостережение не подпасть под влияние западной «гордости», не советовали военными средствами добиваться свободы (вспомним укоры Хомякова Рылееву насчет незаконности восстаний). Доказывали, что попытка даже великой России воевать с Турцией из-за славян привела к ошибкам, к сдаче Севастополя. Высказывали пожелания действовать не насилем, а мирными средствами. Надо блюсти единство в православии, проникаться его нравственностью, не утрачивать равенства, воспитанного патриархальностью, не вдаваться в соблазны сделаться европейцами, хранить обычаи и веру предков, презирать роскошь, вести суд по справедливости и совести (как в земле Володимира). Община, сходка — гарантии этого; славянофилы призывали сербов сохранить свободу мнений, уважать своих пастырей, особенно духовных¹.

Все это были, разумеется, голые призывы. Жизнь, однако, шла по своим законам. Сербы брались за оружие, классовое расслоение шло полным ходом.

Пришлось славянофилам и в этом общеславянском вопросе уступать шаг за шагом свои позиции. Все менее учительской становилась их поза, скромней проповедь. Все меньше верили они в официальные аргументы самодержавной власти, все больше брали на себя.

Очень характерно в этом отношении стихотворение, в котором продолжалась тема первого послания «России» (1839):

Не гордись перед Белградом,
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом,
Златоверхая Москва!

Собственно, тут нет уже «старшего брата», наоборот: «все велики, все свободны». Славянских братьев можно удержать в дружбе только «верою одной». В стихотворении Хомякова «Беззвездная полночь дышала прохла-

¹ А. С. Хомяков. Соч., т. I. М., 1911, с. 373—404.

дой...» (1847) светским пастырям предпочитают духовные пастыри «в старой одежде святого Кирилла», лишь бы они соблюдали старый закон. Эти-то пастыри и объединяют народы:

И клир, воспевая небесную славу,
Звал милость господню на Западный край,
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,
На шумный и синий Дунай.

Звучные, красиво сложенные стихи! С чисто поэтической, формальной стороны ничего предосудительного о них не скажешь. Но они только памятник прекраснодушных исканий и заблуждений славянофилов.

На всех этапах построения симфонии о Руси и о славянстве вообще «контрапунктом» для славянофилов был Запад или олицетворение его — «несчастный Альбион». Мир истосковался по подлинному величию, жаждет «властительной мысли и слова». Разумеется, в пику Западу таким очагом властительного слова, по Хомякову, должна выступить Россия («Еще об нем», 1841).

И все же коварный Запад, и в частности Альбион, брали свое. Сам Хомяков дрогнул, когда в 1847 году посетил Англию. Он опубликовал свой очерк о ней в «Москвитянине» (1848, № 7). Что же случилось? Хомяков поверил в Запад? Англия обернулась для него как страна, в которой «благоговеют перед своим величием»; «тут вершины, да зато тут и корни», прихотливо сочетаются в Англии и новейшие чудеса техники и самые дремучие предания. Последнее всего дороже Хомякову. Консервативная, торийская Англия его очаровала. Удивительное дело: заочно он ее ругал, а посетив, пересмотрел предвзятое мнение. Хомяков находил много сходства между Москвой и Лондоном: в них чтут старину, у обоих все еще впереди, о той и другом мало известно миру, больше рассказывают были и небылицы. Образованный Хомяков, сам говоривший свободно по-английски, в ослеплении этимологических исканий

всерьез уверял, что название «англичане» происходит от «угличане»¹.

Понятие «торизма» приобрело у Хомякова широкое историческое значение и в незавершенном труде по всемирной истории, условно названном современниками «Семирамидой»², Хомяков «торизмом» увенчивал (как Гегель развитие всемирно-исторического абсолютного духа — «прусской монархией») все здание развития человечества. Даже для России была уготовлена эта высокая ступень, разумеется, в некотором преобразованном смысле. Тут Хомяков незаметно для себя, хотя, как ему казалось, чрезвычайно логично, сдавал свои позиции в учении об особой провиденциальной роли православной России в судьбах человечества. В «Семирамиде» Хомяков ввел два псевдонаучных, искусственных

¹ А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. I. М., 1911, с. 122.

² Название «Семирамиды» труд Хомякова по истории получил случайно. Он никому не показывал своих мелко исписанных тетрадок. Однажды Гоголь застал его за работой и, подойдя к рукописи, прочел первое попавшееся на глаза слово: Семирамида. Гоголь тут же в шутку и весь труд окрестил «Семирамидой». С тех пор в славянофильском кругу хомяковский труд получил такое название. У самого автора он никак не озаглавлен. Советские исследователи еще не касались вплотную «Семирамиды» Хомякова, она выпадает из их поля зрения, а между тем она дает материал для уяснения глобального характера романтизма славянофилов и комментирует некоторые стороны их общественной «литературной» позиции. Следует согласиться с таким выводом Н. Рязановского: «История осталась незаконченной, природа и цель неясны. Некоторые ученые считают ее собранием случайных заметок, которые Хомяков записал, чтобы угодить своим друзьям, которые требовали, чтобы он свои мудрые мысли, высказываемые устно, записал бы на бумаге. Другие утверждают, что свою «Историю» Хомяков употреблял в первую очередь в качестве источников материала для своих теологических сочинений. Оба мнения судят о произведении ложно и игнорируют то значение, которое сам Хомяков и другие славянофилы отводили «Семирамиде». Это была попытка величайшего синтеза знаний о судьбах человечества, намерение привести в ясность течение и смысл мировой истории (N. V. Riasanovskiy, указ. соч., с. 67). Но попытка эта не увенчалась успехом.

понятия «иранизма» и «кушитства», определивших исходные начала, вечную борьбу «свободы» и «необходимости». «Иранизм» — начало позитивное, жизнеутверждающее, миротворящее, которое в конечном счете породило в истории Византию, православие, Русь, общину, славянофильское движение, английских тори и вообще всякое органическое созидательное развитие, синтез разнородных начал. В противоположность ему «кушитское» начало (по имени библейского Куша, сына Хама) таит в себе вечные раздоры, все и вся разъедающий анализ; это начало породило Древний Рим, католицизм, заместника бога на земле — римского папу, Западный мир, русское западничество, рационализм, протестантство, английских вигов, развитие права личности, революции¹. Торизм и община у Хомякова родственные

¹ Подробное объяснение терминов «иранизм», «кушитство» и их практического применения у Хомякова см.: В. З. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков, т. I, кн. 1. Киев, 1902, с. 445—561. О Куше см.: П. А. Тураев. История древнего Востока. М., Изд-во АН СССР, 1936, т. I, отд. «Источники», с. 7 и указатели в обоих томах.

Есть в монографии Н. Рязановского несколько ценных замечаний о Куше и о «Семирамиде» Хомякова: «Хомяков называл первый принцип «иранским» и второй «кушитским», так как верил, что его первоисточником, родиной была Эфиопия; и Библия называет Эфиопию Кушем». (См.: N. V. Riasanovskiy, с. 68.) Н. Колупанов в своей «Биографии Александра Ивановича Кошелева» указывает: Хомяков свой взгляд на Эфиопию как колыбель древней цивилизации заимствовал у Диодора Сицилийского (М., 1892, т. II, с. 185). Тот же Н. Рязановский привел убедительные доказательства зависимости эклектической и полной фантастических домыслов работы Хомякова от «Философии истории» Ф. Шлегеля. Оба автора опираются на библейские легенды, сопоставляют пути различных рас, пошедших по праведному и по ложному пути: «Шлегель подчеркивает связь между расами, потерявшими бога, и Каином, Хомяков выдвигает связь между кушитами и Хамом» (с. 195). Общий вывод Н. Рязановского такой: «Хомяковская «История» была так же и по методу, как и по содержанию, типичным продуктом романтического времени» (с. 204).

понятия, и общине предстоит усовершенствовать русскую жизнь, поднять ее до уровня современного respectable «торизма». Удивительно, как Хомяков умел при помощи натяжек строить целые схоластические соборы и, откапывая в истории все консервативные формы, ждать от них возрождения и новой жизни.

С радужными, студенческими надеждами, как шеллингианец и гегельянец, стремился Константин Аксаков в землю обетованную, в философскую Германию, родину Шиллера, который пел «прелестной Тэклы идеал» и Валленштейна «непостижимого». Стихотворение «Путь» (1835) построено, как гетевская песнь Миньоны, хорошо известной тогда в московских кружках, с рефреном: «Dahin! Dahin...» («Туда, туда...»)

Но вот прошло всего восемь месяцев, повидал Константин Аксаков чужие края. В стихотворении «Возврат на родину» (1835) он выражал свое разочарование: «Убитого душой, прими меня к себе, моих отцов пустынная обитель». Через год стихотворение, так же начинающееся с «Туда, туда...», зовет уже в «чудный, светлый край», который далек от «коварной земли», этот край — мир вымысла, утопии. Философски Аксаков развил свои устремления к идеалу и в стихотворении «К идее» (1842).

Константин Аксаков посылал подробнейшие письма родным из Германии, из которых явствовало: все увиденное в чужой стране его гнетет, помолившись на могилах Гете и Шиллера, он оглядывается окрест себя с грустью. Глухой ко всему, он слышал только самого себя: одно за другим следовали странные заявления: «Пруссаки народ образованный, бодрый, но в них нет этого ума, этой силы, какие видны в русском народе» (29 июня), «больше талантов дано русскому, нежели немцу, но в том и состоит заслуга и преимущество последнего, что он развил, обработал все это данное ему...» (11 июля). Наша история — впереди, нечего

смущаться сегодняшним расцветом культуры в Германии; «Много лежит в душе русского человека, и глубже и лучше западных народов поймет он их же плоды науки и искусства. О, это я живо, живее чувствую здесь!»¹

Все эти пророчества были чисто субъективными видениями, и их целиком надо оставить на совести самого «неисправимого» Константина Аксакова и других славянофилов.

Однако протесты славянофилов против засилия иностранцев в русском государственном аппарате, критика космополитической ориентации царского двора были справедливыми, и в этом их поддерживали прогрессивные деятели русского общества.

Можно вполне согласиться с иронической записью в бумагах Марии Васильевны Киреевской о русском дипломатическом корпусе, состоящем преимущественно из иностранцев. Заметка, вероятно, относится к 50-м годам. «Как странно звучат,— читаем мы там,— эти имена в ушах наших Мейендорфов, Медемов, Бруновых, Шридеров, Николаи, Струве, Мальтицей, Будбергов, Поццо ди Боргов, Дюгамелей, Мочениго, Нессельродов, Эбелингов, Бахархатов и прочих представителей русского начала и русских интересов при европейских дворах, этих пламенных патриотов, которые на одних подметках семи царям прослужить готовы»².

К сожалению, славянофилы не давали себе труда разбираться по существу, каковы были эти иностранцы, полезны ли они России. Склонный к крайностям, Константин Аксаков решал все в пользу «русского». Любопытен рассказ А. С. Хомякова, записанный его до-

¹ ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, № 38. Частично выдержки из писем опубликованы в работе С. А. Венгерова «Передовой боец славянофильства Константин Аксаков». — В собр. соч. С. А. Венгерова, т. III. СПб., 1912, с. 33.

² ЛБ, ф. Елагных, № 15, ед. хр. 56.

черью. Однажды произошел спор между славянофилами по вопросу о том, кто кем бы желал быть, если бы не был русским, Хомяков сказал, что англичанином. «Но когда дошла очередь К. С. Аксакова, он сказал, ударяя по обыкновению по столу: если бы я не был русским, я бы желал им сделаться»¹. В устах славянофила нельзя этот патриотический порыв принимать за чистую монету: быть «русским» для него значит попрасть других... Другие — только хуже... Из этого порыва ничего полезного для России не произрастало. По-другому ставили вопрос о «национальной гордости» русские революционеры и демократы от Радищева до Чернышевского...

¹ ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 68 и об.

ГРИМАСЫ САТИРЫ

Славянофилы-поэты не смогли выйти в своем творчестве на простор современной им социально-общественной тематики и проблематики. Они для этого были слишком субъективными лириками. Постоянно заявляя о своей готовности встретить любую бурю, они чаще всего испытывали растерянность перед жизнью.

Впрочем, недостатка в поэтических перифразах относительно «пловцов», «бурь» и «непогоды», с легкой руки действительно талантливого и призывного «Пловца» Языкова («Нелюдимо наше море...»), у славянофилов не было. Таковы «Мечтание» Константина Аксакова («Мне много бурь готовит жизни море...»), «Парус поднят, ветра полный...» Хомякова и другие стихотворения.

Чрезвычайно звучно написано Иваном Аксаковым стихотворение «Голос века» (1844). Оно ходило по рукам и из-за своей резкости смогло появиться в свет только в 1862 году в газете «День». В стихотворении обсуждается своего рода «геройство времени» и плоды не «иссушающей ум» науки, не эгоизм поневоле, а добровольный альтруизм:

Много сил и твердой воли,
Ранных лет твоих в бреду,
Отдал ты ничтожной доле,
В жертву ложному труду...

С бодрым чувством юной мочи
Подвизался ты,— но верь,
Что сознанием наши очи
Просветились теперь!

Главная тема стихотворения — для чего же пробудилось поколение?

Стрелы летят в первую очередь в западников:

Ваше царство пасть готово,
Ваше благо — вред и ложь,
Ваш закон — пустое слово,
Ваша деятельность — тож!

Да, уже тут идет игра словами «ваше» — «не наше», как у Языкова в том же 1844 году. А перспектива, при всей своей неясности, многообещающая, как всякая утопия:

Но иной теперь стремится
Мир достигнуть высоты,
И грозят осуществиться
Наши давние мечты!

В чем же они, эти «давние мечты»? Напрочь отвергая «чистое искусство», общественный индифферентизм, Иван Аксаков проповедует свою славянофильскую, «давнюю мечту». Как и петрашевец Плещеев, он борется за бесплодную науку и за отрешенное от жизни искусство:

Ты принесешь мечты и звуки
И жар обильного труда!

Это свой выход из кризиса, обрисованного в лермонтовской «Думе».

В стихотворении «Русскому поэту» (1846) Иван Аксаков призывает оглянуться вокруг, быть народным, проникнуться нуждами меньших братий. Под этими призывами подписался бы любой поэт-демократ. Но раздвоение затаилось и здесь. Аксаков не проясняет главного: зачем, во имя каких народных целей, надо

сблизиться с массой. К сожалению, стихотворение сильно отзывается общей риторикой.

Славянофилы всегда лучше знали, что им не надо, чем то, что им надо. Они были сильнее в отрицании, чем в утверждении.

Была у Ивана Аксакова и своя встреча с «иностранкой», с А. О. Смирновой-Россет, в Калуге. Он много с ней спорил. Ее ум, вкус уже не приводили его в восторг, как в свое время приводили Пушкина, Лермонтова. Славянофил Аксаков видит в ней сибаритку, поддельные цветы образованности:

И вы к покою и прощенью
Пришли в развитии своем
Не сокрушения путем,
Но... равнодушием и ленью!
(А. О. Смирновой, 1846)

За советами и за сочувствием он к ней не считает нужным обращаться.

Хомяков издевается над петербургским «благочестивым меценатом» с «румяным пухом ланит», который высокомерно смотрит на московских мыслителей с их «плебейской верой» во все народное. Константин Аксаков в стихотворении «Два приятеля» (1845) на свой лад призывает идти «без страха и сомненья» (как это говорится в знаменитом гимне петрашевца А. Н. Плещеева) к своей цели:

Иди вперед, суровой сталью
Несокрушимой весь покрыт;
Там, за неясной, темной далью,
Источник истины сокрыт.

Но, по мнению Аксакова, при этом надо соблюсти два условия: не следует опираться на холодный распуск и лучше иметь верных союзников:

На битвы выходя святые,
Да будем чисты меж собой!
Вы прочь, союзники гнилые!
А вы, противники,— на бой!
(«Союзникам», 1844).

Нельзя отказать этим стихам в силе, но все же здесь речь идет больше о «чистоте» славянофильского духа¹ и опять, как и у Языкова и Ивана Аксакова, о «ненаших».

В стихотворении «Гуманисту» (1848) Константин Аксаков готов поднять восстание против «петербургского» рационалистического, то есть себялюбивого, расчетливого человеколюбия. Стихотворение было по-своему актуальным. В журналах «Отечественные записки», «Современник» во второй половине 40-х годов едко обсуждались вопросы барской филантропии и высмеивались чрезмерные надежды на нее (Белинский критиковал апологетические на этот счет статьи Н. А. Мельгунова). В стихотворении Аксакова была своя доля истины. Но его призыв — «пойми себя в народе!» — был внешним, славянофильским, как ношение бороды и зипуна. Все это фарсы, игра в слияние с народом...

Славянофилы были бессильны разобрать «по косточкам» враждебные им западные учения — материализм, социализм, они только пытались опровергнуть их исходные начала — прежде всего рационализм. По их понятиям, западники рассекают жизнь на части «лезвием стального ума», их «рассудок» все мертвит, их «горделивейший из титанов» — разум — не дает ожидаемых результатов:

В недоступные пучины
Жизнь ушла, остался след:
Пред тобой ее пружины,
Весь состав, а жизни нет.

(К. Аксаков.

«Разуму», 1857).

¹ В этом смысле полна натяжек статья О. Ф. Миллера «Хомяков в своих лирических стихотворениях», в которой он старается уподобить «гражданственность» Хомякова «гражданственности» Рылеева, молчаливо, видимо, сознавая, что такие «займы» у декабриста необходимы, чтобы упрочить авторитет славянофильского пророка в истории русской поэзии. См. сб.: «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины». СПб., 1876, с. 471 и др. (перед этим статья была напечатана в журнале «Заря», 1869, июльский номер).

За собой славянофилы оставляли привилегию непосредственного понимания всего живого, безошибочного интуитивного знания.

Для того чтобы душе открылась истина, нужно, чтобы душа очистилась от всяческой земной скверны: «Отрекись своей гордыни,—призывал Константин Аксаков,— в битву с небом не ходи», нужно смиренно пасть в прах перед богом. Аксаков проповедовал философию веры, а не знания.

Славянофилы охотно изображали свои идейные битвы с противниками, свою непримиримость в живых диалогах.

В 1845 году Иван Аксаков написал диалог «Зимняя дорога». Здесь автор сопоставляет две точки зрения, славянофила Архипова и западника Ящерина. Они оба едут в одной кибитке и рассуждают о народе, о том, что видят по дороге. Сюжет напоминает «Тарантас» В. А. Соллогуба, вышедший в том же 1845 году: у Соллогуба также изображаются два героя, антагониста, которые едут в одном тарантасе и обсуждают те же вопросы.

Славянофил Архипов хвалит народ России как хранителя старых обычаев и нравов. Западник Ящерин высмеивает детские иллюзии своего антагониста и на каждом шагу спрашивает, где же проявляется эта особенность народа? Архипов часто просит только внимательнее всмотреться в народную жизнь и прислушаться к ее голосам. Автор диалога не становится открыто ни на чью сторону, хотя явно сочувствует Архипову.

Иван Аксаков изображает курную крестьянскую избу, как это не раз делал в своих письмах родным. В этой-то избе и встречаются с народом его герои, доморощенные философы. Господам неуютно в нищей избе, стыдно есть и пить под голодными взорами большой семьи мужика-хозяина. Они оба, конфузясь, переходят на французский язык. Но вся эта жеманная канитель обрывается просто. Иван Аксаков провел последний прав-

дивый мазок кистью по картине: вдруг приходит вестник и объявляет о новом рекрутском наборе, бабы в избе заголосили. Вот и явилась доподлинная безотрадная правда о народе, кормильце, поильце и защитнике русской земли. Имеющий уши да слышит, имеющий очи да видит.

«Зимняя дорога» претендует на непредвзятость и философское раздумье. Это, может быть, наиболее объективная и «сильная» вещь в славянофильском литературном наследии. Но как она слаба по сравнению с любой подлинно реалистической вещью о народе писателей «натуральной школы»!

Мы уже не раз убеждались, что поэтическое творчество славянофилов насквозь полемично и они не раз пытались прибегать к сатире.

Им это более или менее удавалось, когда они обращались к своим излюбленным темам: о неверном ходе русской истории после Петра I, о петербургской бюрократии, взяточничестве, бездушии чиновничества. Сатира никогда не касалась мужика и барина, за исключением тех случаев, когда барин-космополит брался поучать мужика.

Константин Аксаков обличал господ, воспитанных на западный лад. Он написал пьеску «Князь Луповицкий» (1851). Фамилия князя прозрачно вызывает ассоциации с фамилией Глуповицкий. И в самом деле, князь-филантроп отправляется из Парижа в свою деревню, чтобы благодетельствовать советами крестьян. Он с трудом говорит по-русски и все время перемежает русские и французские фразы. Барин ничего не смыслит в хозяйстве. Мужики живут своим миром и по своим нравственным законам. Староста Антон воплощает в себе всю народную мудрость (не сродни ли он Антону-горемыке у Григоровича? Как бы переосмысленный по-славянофильски Антон, грамотей, победивший свои невзгоды, кровопийцу управляющего и теперь вразумляющий самого барина?).

Всюду как будто царит христианское единодушие в решении всех вопросов. Константин Аксаков, вслед за братом Иваном, изображает и рекрутский набор. Однако невзгода никого не повергает в ужас и слезы. Мир сообщи сумел спасти от солдатчины сироту, выкупил его по квитанции и сдал вместо него в солдаты пьяницу и лодыря. Конечно, художественное достоинство «Князя Луповицкого» невысоко, С. А. Венгеров справедливо указывал на его чисто публицистический характер: «Князь Луповицкий» есть подробное развитие и переложение в лицах одной из наиболее горячих критических статей Константина Аксакова, напечатанной им под псевдонимом *Имрек* в «Московском сборнике 1847 года»¹.

Речь идет об отзыве Константина Аксакова о сентиментальном рассказе В. Ф. Одоевского «Сиротинка» (1845). Аксаков и захотел дать образец знания народа и высмеять князя-филантропа.

Хотя «Князь Луповицкий» увидел свет только в 1856 году, он несомненно был известен современникам в списках. Это слабое в художественном отношении произведение все-таки имело свою судьбу в большой русской литературе.

Константин Аксаков выступает в роли некоего предшественника Л. Толстого, который в 1856 году написал «Утро помещика». Здесь ведь тоже филантроп-помещик Нехлюдов не нашел общего языка со своими мужиками. А перед тем Некрасов написал «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Граф услаждался в Париже, а теперь решил провести «trois mois dans la Patrie» («три месяца на родине») и принять меры, «способствующие развитию нравственных начал в русском народе». Граф Гаранский успел разглядеть народ из окна кареты, потом с балкона, и нашел, что народ

¹ С. А. Венгеров. Собр. соч., т. III, с. 102--103.

доволен всем, и граф даже слышал в свою честь и в честь управляющего дружное «ура!»¹.

Но Луповицкие или Гаранские — только следствие великой grimасы русской истории, петровских реформ, нарушивших ее «нормальный ход». Славянофилы неустанно и по-своему смело нападали на главного виновника западных влияний на Русь, на Петра I. В стихотворении «Петру» (1845) Константин Аксаков высказал множество укоризн великому монарху, «мужу кровавому». Он славой окружен, но стоит с «окровавленным топором»; он сломил упорство народа, но после этого смолкла русская земля.

Собой закрыл ты весь народ.
Вы вместе жить уж не могли.

Но Аксаков верит, что Русь воскреснет когда-нибудь вместе «с освобожденною Москвой» и весь русский народ вздохнет свободно.

Все отпадет, что было лживо,
Любовь все узы сокрушит,
Отчизна зацветет счастливо —
И твой народ тебя простит.

¹ Чисто исторический интерес в биографии Константина Аксакова имеет его драма «Олег под Константинополем», написанная в студенческие годы и опубликованная только в 1858 году. Драма появилась слишком поздно и имеет лишь некоторое значение для характеристики формирования исторических взглядов будущего славянофила. От ее главной, антикарамзинской идеи автор отказывался как от заблуждения молодости. В студенческие годы он поддерживал концепцию «скептической школы» М. Т. Каченовского, отрицавшего историческое существование Олега и взятие им Константинополя. К. С. Аксаков пародировал в драме тех оптимистов, которые приписывали Олегу и его времени высокий уровень цивилизации. Дочь византийского царя, явившись к Олегу в качестве посла, отговорила его брать город осадой, и Олег по-рыцарски ограничился лишь тем, что прибил к его воротам свой щит... Теперь такой скепсис по отношению к Древней Руси не устраивал автора драмы уже и как славянофила.

Примирительная концовка чрезвычайно характерна для славянофилов: все конфликты на Руси — плод недоразумения и легко устранимы. Народ прощает царя, как заблудшее дитя: «поиграл и довольно», но истинной обиды он к царям не питает, власть у них не оспаривает. Тут нет даже «договора»: просто все в отчизне «зацветет» и раздорам будет конец, все забудется, все счета отпадут. Только каким же образом и когда «зацветет»?

Константин Аксаков написал водевиль «Почтовая карета» (1845), в котором сталкиваются, как и у Ивана Аксакова в «Зимней дороге», два антагониста — западник Пустовельский и славянофил Светлицын. Каждый из них в куплетах хвалит свой город: Пустовельский — Петербург, Светлицын — Москву. В стихах в честь Петербурга есть иронические перифразы знаменитых пушкинских описаний северной столицы в «Евгении Онегине» и «Медном всаднике», а в куплетах Светлицына автор вспоминает в более патетическом тоне свое собственное стихотворение «Москве». В печати это произведение не появилось¹.

«Тени» — выразительно назвал одно из своих сатирических стихотворений Константин Аксаков (1856)². Тени возникли по мановению Петра I: это чиновники, народу чуждые, «вампиры» с «жадными устами», которым дано господство над народом.

А ты молчишь, народ великий,
Тогда как над головой твоей
Нестройны раздаются крики
Тобой владеющих теней.

¹ См.: ИРЛИ, ф. 3, оп. 7, № 7.

² Кстати, напомним название известной комедии М. Е. Салтыкова-Щедрина, направленной против чиновников, — «Тени» (1862). Не исключено, что название выбрано Щедриным под влиянием аксаковской вещи, весьма известной в литературных кругах до ее напечатания в газете «Русь» в 1880 году.

Когда-то Некрасов пародировал концовку «Колыбельной песни» Лермонтова: «Будешь ты чиновник с виду и подлец душой». Известный шедевр Пушкина перепарафразировал и Константин Аксаков. Он написал стихотворение «Подлец» (40-е годы). Герой живет в Москве, долго никем не признанный, но у него есть свои боги, и он ждет их «глаголов»:

Но только подлости призыв
До слуха чуткого коснется,—
Подлец душою вострепнется,
Мгновенно силы ощутив.

Константин Аксаков руки не хотел подавать «петербуржцам». Художник Э. Дмитриев-Мамонов считал, что можно и своих проклясть, если они запродались тянуть «немецкую» ляжку: «Славянофил, надевающий на себя мундир, через это становится западником»¹. Таково было их общее с Аксаковым убеждение.

Славянофилы, несомненно, внесли свою лепту в обличения царского, бюрократического произвола. Они это делали по-своему остро и искренно, и тут голос их сливался с голосами всех честных людей в России.

«Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений добрых малых — мерзавцев, хлебосолов-взяточников... — писал Иван Аксаков родным 23 ноября 1855 года из ополчения, двигавшегося к Севастополю, зная, что за его перепиской бдительно следят соответствующие ведомства. — Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить незаконно, чтобы поступить

¹ «Русский архив», 1873, № 12, с. 2493.

справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзостей, чтобы добиться необходимого, законного...»¹

Типичный круговорот чиновничьей жизни Иван Аксаков сатирически изобразил в «мистерии в трех периодах» под названием «Жизнь чиновника» (1843). Впервые в России она смогла появиться в печати только в 1886 году. В 1861 году политический эмигрант Герцен напечатал «Жизнь чиновника» в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» без имени автора. Кто ему в Лондон прислал список этого произведения, неизвестно.

С точки зрения жанра и мотивов «Жизнь чиновника» — любопытное произведение. Есть тут что-то даже от «Фауста», разумеется, в шаржированной форме: чиновник продает душу дьяволу, решившись вкушать все сладости служебного преуспевания. При решении «гамлетовского» вопроса: «служить иль не служить» — чиновник слышит нашептывание демона:

Будешь жить спокойно, кругло и счастливо...

Другой таинственный голос отговаривает его от выбора, показывая всю мерзость, бесчеловечность будущей службы.

Однако чиновник выбирает все же службу. Торжествующие департаментские подлипалы, секретаришки поют хор из «Роберта-дьявола» Мейербера, гуляют страсти в среде грабителей и накопителей:

От всех нам пожива
И дань и почет!

Эти образы в какой-то мере пролагали пути к некрасовской поэме «Современники» (1870), в которой также хор взяточников и воротил поет: «Нынче скучает лишь тот, кто не украл миллиона». Перед нами великолепная «физиология» чиновничьей жизни, той самой

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. III. М., 1892, с. 205 и 207.

«неправды черной» и «мерзости», о которых позднее скажет Хомяков.

Аксаковский чиновник совершает весь круговорот земных преуспеваний, ни разу не подумав о спасении души... И вот наступает смерть. Устраиваются пышные похороны. А в толпе гадают, кто же был этот человек. Как в «театральном разезде», когда комедия закончилась, слышатся разные голоса:

Молодой чиновник. Благородный человек покойник... Да, всякого, бывало, обласкает!..

Пожилой чиновник. Добрый был генерал. Впрочем, унывать не надо. За богом молитва, а за царем служба не пропадет.

Женщина. А скажите, батюшка, кто был покойник?

Барин. Черт его знает; так себе какой-нибудь!..

Купец. Нет-с. Почет велик. Понимать должно, что важный чиновник.

Голос из толпы. Чиновник, точно. А что, если правду сказать, ведь, верно, был такой же мошенник!..»

Так «безмолвствующий» народ у Аксакова по гоголевской модели, неожиданным поворотом фразы, произносит свой приговор всей камарилье¹.

Аксаков выступил предтечей одного из важных мотивов русской реалистической школы 40-х годов. «Натуральная школа» в это время еще не родилась, а она, особенно впоследствии, прославится борьбой с теми, кто «чиновник с виду и подлец душой» (Некрасов, «Колыбельная песня»). Славянофилы, однако, старались не «запятнать» себя этой близостью. Они все вре-

¹ В «Мертвых душах» так построен разговор о чиновниках в сцене у Собакевича: «Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет... Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».

мя напоминали: не спутайте нас с «ненашими». Иван Аксаков указывал в одном из писем 1844 года, что его направление ничего общего не имеет с направлением «Отечественных записок». Он просил друзей не показывать «Жизни чиновника» Белинскому, а то последний еще подумает, что автор мистерии его союзник. Аксаков-обличитель хотел бы остаться независимым¹.

Свои богатые наблюдения над чиновничьей жизнью Иван Аксаков воплотил и в публицистической пьесе «Присутственный день уголовной палаты» (1853).

Это произведение было запрещено цензурой и впервые появилось благодаря Герцену в Лондоне в 1857 году.

В России оно было напечатано в журнале «Заря» за 1871 год с измененным заголовком: «Из недавнего прошлого. Судебные сцены. Присутственный день в уголовной палате». А еще в совсем «недавнем прошлом» Главное управление цензуры вывело такое уничтожающее заключение: «...сочинение это содержит в себе неосновательную и злую сатиру на образ действий уголовного судилища, весьма неприличную и оскорбительную

¹ Он писал родным о Калайдовиче (Иване Федоровиче.— В. К.), который спросил: «Можно ли прочесть это Белинскому?» Я отвечал: «Решительно нет, ибо Белинский может подумать, пожалуй, что я придерживаюсь его мыслей, а я этого совсем не хочу». И Калайдович на это отвечал, что придерживаться мыслей такого человека, каков Белинский — достоинство и пр.! Но я говорил Калайдовичу, что мне интересно было бы знать, какое впечатление произведет она (мистерия.— В. К.) на таких-то и таких моих товарищей... Да и вовсе не желаю, чтобы оно (произведение.— В. К.) дошло до ушей Министерства юстиции, ибо не хочу вовсе потерять в глазах его репутации хорошего и дельного чиновника. А главное,— меня бесит то, что эта краевщина (то есть «партия» «Отечественных записок» Краевского, читай — того же Белинского.— В. К.) будет себе толковать вкось и вкривь». («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1, с. 136—137). Здесь много любопытных признаний, особенно в том, что Аксаков пока еще дорожил репутацией благонамеренного чиновника.

для чести сих учреждений и могущую породить многие ложные понятия в мнении читателей»¹.

Задолго до «надворного советника» и «вице-губернатора» М. Е. Салтыкова-Щедрина, как бы засланного в стан противника для разоблачения тайных царской бюрократии, Иван Аксаков вытащил на свет божий это тайное и весьма оригинально аттестовал себя в пространном пояснении «чиновником-очевидцем», дотошным знатоком дела: «отставным надворным советником, бывшим секретарем правительствующего сената, бывшим товарищем председателя уголовной палаты, бывшим обер-секретарем правительствующего сената, бывшим чиновником министерства внутренних дел»². Все круг ада прошел этот «бывший», ему ли не знать всей подноготной. А «бывшим» он стал из-за увлечения литературой.

Тут выведены все провинциальные Ляпкины-Тяпкины: председатель уголовной палаты, два заседателя от дворянства, статский и бывший военный, заседатель от купечества, секретарь-деляга, карьерист и подлипала, три писца — мелких хищника, ябедничающие друг на друга, вахмистр, распорядитель порядка, канцеляристы, конвойные, арестанты в ножных кандалах.

После «Ябеды» Капниста (1798) русская литература так впрямую еще не брала эту в будущем чисто щедринскую тему.

Провинциальный суд описан со скрупулезной точностью «физиологического очерка». В зале стол с красным сукном, на стене портрет молодого государя Николая I, в первые годы его царствования. Тут раскрытые шкафы со створками, стеклянные двери, ведущие в присутствие, кресло председателя из красного дерева, с зо-

¹ ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 2, № 4098.

² Цит. по изд.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3. М., 1892, с. 17. «Присутственный день уголовной палаты» напечатан в «Приложении».

лочеными ручками, столик секретаря у дверей, на противоположной стороне дверь с надписью «Архив», она ведет в комнату, где висят виц-мундиры членов палаты, надеваемые ими в присутствии. Чиновники суетятся, разговаривают, роются в своде законов. Словом, мы в самом катище Молчалиных и Иванов Антоновичей Кувшинное Рыло, где отправляется правосудие.

Тут рука руку моет, лихоимство стало законом. Сам губернатор покрывает все кривды суда. Председатель уголовной палаты выгораживает насильника и развратника помещика Жомова: «Ведь для чего-нибудь нас дворяне-то выбрали», «Помилуйте! свой брат дворянин, а я его губить стану!»¹. А Жомов, придя в уголовную палату, кричит: «Что же, и за это судить меня? Мне мужика и выпороть нельзя, что ли? Мне своего холопа и побить нельзя?.. Нет!.. вы мне скажите, властен я, что ли, над своим мужиком или нет?»². Этот дантист, подгулявший Ноздрев, даже глумится над правосудием, сознает свою безнаказанность: «Конечно, помилуйте! Опора престола!.. Как же тут становому в помещичьи дела рыло свое совать? Ведь это бунт! Ведь это значит священнейшие обязанности колебать!.. я ведь за вас, господа, ратую!.. Мне что... меня, может, за мою правду-то вы в Сибирь сошлете... хе, хе, хе! может, еще и в каторгу...»³

Никто внимательно дел не читает, судьбы людей вершат мелкие взяточники. Только слышны приговоры крестьянам: кому Сибирь, кому розги, кому плети, кому каторга. Беззаконие творится под портретом императора, стало быть, именем императора...

Мы не преувеличиваем художественного значения этих сцен Ивана Аксакова. Они эмпиричны, лишены

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 52, 59.

² Там же, с. 80.

³ Там же, с. 81.

большого обобщения. Но впервые беззаконие и бюрократизм суда были так полно, целостно воспроизведены в русской литературе в бесхитростных «бытовых» сценах Ивана Аксакова, который может рассматриваться как предшественник Щедрина, автора «Губернских очерков». Запросто судейские чиновники обсуждают между собой подробности своего ремесла: «Председатель. Что поставить, плети или розги? Секретарь. Плетьюми, 30-ю ударами. Председатель. Ну, плетьюми так плетьюми! *(подписывает)*. Заседатель от дворянства. Это значит почти втрое. Мне намеднись экзекутор в губернском правлении новые плети показывал... треххвостные!»¹. Ну, как тут не вспомнить саркастически гневные строки из знаменитого письма Белинского к Гоголю о «комическом замещении однохвостого кнута треххвостом плетью»², этой благодетельной мере Николая I, которую он ввел с 1845 года.

Всем проступкам мужиков дается тут одно нехитрое и даже сожалительное объяснение: «по глупости, простоте и невежеству, свойственному крестьянскому быту». А кто держит мужика в невежестве и темноте, вопрос не возникает. Прав у мужика нет никаких.

Арестант Андрей Пахомов, 28 лет, обвинялся в «неповиновении» помещику, коллежскому советнику фон Диквальдгаузену. Присудили: лишив всех прав, дать плетьюми через палачей 40 ударов, наложить клеймо и сослать на каторжный завод сроком на 6 лет. Пахомов во весь голос возразил: «Я не доволен... я жаловаться хочу!..»³. Все судейские обомлели, вскочили, «общее смятение», заорали на него. Солдаты окружили арестанта и вытолкнули вон. А закон гласил в сих случаях: «...мож-

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 62—63.

² В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 213.

³ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 89.

Но жаловаться только после наказания, уж из каторги»¹. Но какой толк было жаловаться...

Речь героев в пьесе местами очень живая, порою чувствуются гоголевские интонации: «Генерал врать не станет и, коли соврет, значит, уж должно было так соврать, не даром!.. Ведь генерал двух свидетелей стоит!»² Тут так и слышится городничий из «Ревизора»: «Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим богом устроено...», «Конечно, прилгнул немного. Да ведь, не прилгнувши, не говорится никакая речь».

В самых смелых обличениях славянофилов всегда где-то скрывалось добровольное самоограничение. Уж очень они не хотели сливаться с потоком обличительной русской литературы. Иван Аксаков в предисловии к пьесе — в который раз! — поспешил разъяснить свою «не западническую» ориентацию, отмежеваться от «натуральной школы». Не претендуя на художественность, автор полагает, что его произведение суть «докладная записка» и в качестве таковой «имеет все грустное достоинство истины». Впрочем, истина показана сознательно не вся: «Многие, по прочтении этого отрывка, скажут, что я взял только смешную и пошлую, еще не самую трагическую сторону судебного быта, что я вовсе не коснулся и не разоблачил тех вопиющих злоупотреблений и страшных злодейств, которыми богата память каждого «послужившего на своем веку» человека. Но предлагаемый отрывок еще далеко не исчерпывает всей моей собственной задачи; вопиющие же злоупотребления и потрясающие душу злодейства носят на себе характер исключительности, особенности, которые яркостью своею резко отделяются от общего быта; к тому же они не всегда избегают и наказания по закону»³.

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», с. 90.

² Там же, с. 57.

³ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 17.

Аксаков признается в некоторой однокрасочности своих картин. В более серьезной односторонности упрек обычно адресовался «натуральной школе», которая якобы брала только «злодейства», «исключительные» явления русской жизни, наиболее мрачные ее стороны, забывая об «общем быте», и поэтому впадала в очернительство и достойна была осуждения. Он, Аксаков, хотя на время и подражает этой односторонности, взяв ее в более смягченных формах, однако хорошо сознает, что делает это только по пути «к своей собственной задаче». В чем же она? Порицание темных сторон русской жизни должно дополняться изображением ее идеальных сторон. Аксакову очень хочется остаться при этой широте подхода к действительности. Ведь славянофилы упрекали «натуральную школу» за то, что она взяла у Гоголя только его первую сторону, отбросив вторую. Но аксаковские «собственные задачи» не совпадали с гоголевскими намерениями отобразить идеальную Русь, как бы эти последние в свою очередь ни были иллюзорны. Полностью своих карт насчет «собственных задач» Аксаков не раскрывал. Они, конечно, славянофильские. Нет необходимости показывать злодейства, так как они не уходят от наказания. «Самое трагическое здесь, по моему мнению, это неправда, совершаемая добродушно и большею частью бессознательно»¹.

Самое трагическое для самих славянофилов заключалось в том, что, показывая кнуты и треххвостые плети, они говорили правду об «общем быте» русской жизни, а своими моралистическими подправками к ней снижали эту правду. Только в первом случае они объективно смыкались с мощным обличительным потоком всей русской реалистической литературы. Во втором они противодействовали ему и выступали охранителями существующего социального уклада.

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах» т. 3, с. 18.

СТИХИ КАК СТИХИ

Поэтика славянофилов до сих пор еще не исследована обстоятельно. Иван Аксаков смело экспериментировал в области трехсложных размеров, порою даже упреждая некрасовскую поэзию. Есть и излишняя печать архаики допушкинского периода, особенно у Хомякова. Жанры все размыты, любовно-эротической темы нет.

В целом поэзия славянофилов продолжала традиции романтической гражданской поэзии. Но, по сравнению с декабристами, у них своя, консервативная программа утопической патриархальности.

Исследователь В. З. Завитневич справедливо говорил о поэзии Хомякова: «У него все нравственно, духовно, возвышенно»¹.

По наблюдениям Л. Гинзбург: «...у Хомякова — архаизмы, ораторская интонация, обилие метафор, облекающих отвлеченную мысль; все это признаки того умеренно одического стиля, к которому обращались поэты 1800—1810 годов, берясь за высокую гражданскую или философскую тему»². Это поэзия оостеневающих формул.

¹ В. З. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков, т. 1, кн. 1, с. 101.

² Л. Гинзбург. О лирике. М.—Л., «Советский писатель», 1964, с. 60.

Вдумчивый исследователь Е. А. Маймин, автор статьи «Хомяков как поэт», вынужден констатировать, что стихи Хомякова малобиографичны, что Хомяков — поэт по преимуществу не сердечного чувства, а головного пафоса¹.

С. А. Венгеров в очерке о «передовом бойце славянофильства» Константине Аксакове, при всей своей увлеченности, вынужден прийти к безрадостному выводу относительно его поэзии: от нее веет риторическим холодом, «у него был так велик пафос мысли, что как бы не оставалось достаточно духовных сил для пафоса слова»². Венгеров приводит слова Гоголя о Константине Аксакове: у него «нет вовсе слога». Небрежность слога отмечал у него и его брат Иван Аксаков. Однако он был признан современниками, и его поэзия сохранила свое значение и в наши дни.

Для Хомякова, особенно его ранних стихотворений, характерен лиризм и активное желание откликнуться на окружающую жизнь. Но затем диапазон его лирики заметно сузился. В раннем творчестве Хомякова много шаблонов: «ночи», «очи», «прежде», «надежде». Он обошел одно из величайших «обольщений» современной ему поэзии и никогда не был «байронистом». Его всегда влекла к себе поэзия, близкая ему по духу.

В. З. Завитневич, которого нельзя заподозрить в недоброжелательстве по отношению к Хомякову, добросовестно перечислил «общие места его зрелой поэзии, перепевы публицистических тезисов: утрата веры в будущее Запада, соединенное с отдаванием должной дани его великому прошлому, вера в будущее Востока, долженствующего вступить на смену Западу, центральное значение на Востоке русского народа, в глубине духа

¹ См.: Е. А. Маймин. Хомяков как поэт.— «Пушкинский сборник». Псковский государственный педагогический институт. Кафедра литературы. Псков, 1968, с. 75, 83.

² С. А. Венгеров. Собр. соч., т. III, с. 97.

которого хранятся новые начала жизни...»¹. И дальше: «То, что раньше выступало в его сознании как мечта, как полет фантазии, ищущей для своего проявления лишь поэтические образы, то позднее приняло характер серьезной мысли, требующей научного, строго логического обоснования; а вместе с тем поэт-художник уступил место ученому-публицисту, стихотворец — прозатору (прозаику.— В. К.), хотя истинно поэтический талант Хомякова не смог совершенно заглухнуть...»²

Д. Е. Остен-Сакен замечает в воспоминаниях: «...чем дальше, тем поэт все чаще и чаще останавливается на вопросах, которые потом сделались излюбленными темами его прозаических трактатов»³. Чем более Хомяков становился ортодоксальным представителем славянофильства, тем бесцветнее делалась его поэзия, и в ней появлялись повторы мысли. Он выработал свой особенный виртуозный риторизм, особую живость и звонкость. Но они мало грели душу читателя.

Козьма Прутков с успехом пародировал особенности славянофильской логики Хомякова, которая часто сама себя ставила на грань смешного. Пародия называется «В альбом красивой иностранке» — А. О. Смирновой-Россет:

Ты родилась в чужом краю,
И он охулки не положит,
Любя тебя, на честь свою.

Спорившим с предубеждениями поэта не удавалось успешно его опровергнуть⁴. И. С. Тургенев критиковал Хомякова как поэта. Не любивший Хомякова западник,

¹ В. З. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков, т. 1, кн. 1, с. 223.

² Там же.

³ «Русский инвалид», 1861, № 48.

⁴ См.: Э. Радлов. О поэзии А. С. Хомякова.— Сборник статей, посвященный С. Ф. Платонову, ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911, с. 552 и др.

историк, профессор Московского университета Б. Н. Чичерин писал о его стихе: он, «всегда тщательно и изящно отделанный, был вообще холоден и безжизнен»¹.

Славянофилы были романтиками, но особого типа. Романтической была доктрина. «Поэтический метод Хомякова,— справедливо замечает Е. А. Маймин,— это одновременно и *романтический* метод. Не в одной поэзии, но и в своих исторических философских взглядах Хомяков был романтиком. Именно романтизм определил поэтический характер методологических воззрений на историю»². Этот романтизм всецело определил и их противостояние современности.

Хомяков, как и все славянофилы, был по преимуществу лириком. Для жанров драмы и прозы нужна большая обращенность к объекту, к реальной действительности и заинтересованность в бесстрашном аналитическом ее раскрытии.

Подобно Дон-Кихоту, славянофилы-поэты испытывали «удары» судьбы, жаловались на нее, как поэты-романтики.

Пусть гибнет все, к чему сурово
Так долго дух готовлен был:
Трудилась мысль, дерзало слово,
В запасе много было сил...
Слабейте, силы! вы не нужны!
Засни ты, дух! давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!

(Иван Аксаков. 1849)

Мы уже знаем, как клеймил неверных «союзников» Константин Аксаков. Его брат Иван доискивался до причин безволия и сибаритства в стане верных сподвижников. Что могли московские славянофилы противопоставить деятельной петербургской литературе: ведь аль-

¹ «Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина», т. 2, с. 227.

² «Пушкинский сборник». Псков, 1968, с. 108.

ма́нах за альманахом выпускала «натуральная школа»? Почему такой успех у Некрасова, Белинского? Славянофилы же все выжидали, предавались маниловским праздным мечтам:

Мы все страдаем и тоскуем,
С утра до вечера толкуем
И ждем счастливейшей поры.
Мы негодуем, мы пророчим,
Мы суетимся, мы хлопочем...
Куда ни взглянешь — все добры!
Обман и ложь! Работы черной
Нам ненавистен труд упорный;
Умом ослаблены мечтанья,
Мечтаньем обессилен ум!

(1846 или 1847)

Как поддержать веру в себе самом?

Перед собой устал я лицемерить!
Для дел твоих мне силы сбереги...
О, если есть, чему я должен верить,
Ты моему безверью помоги!..

(«После 1848 года», 1850)

Но самые страшные итоги были еще впереди. Иван Аксаков в письмах к родным сообщал, как популярен Белинский во всей России, а славянофилов никто не знает. Это он писал после Крымской войны. Но растерянность, усталость от битв чувствовал уже в 1850 году и «передовой боец славянофильства» Константин Аксаков:

С пылким восторгом усилъя
Мы лишь к вопросу идем.
С горьким кознаньем бессилъя
В прах безответны падем.

(«Советы», 1850)

Славянофилы не употребляют мифологических и аллегорических образов греческого или римского пантеона. В этом сказалась их ригористическая православная «русскость». На иных основаниях античный элемент

почти совсем отсутствует у «любомудров», его нет у Лермонтова, и он невозможен у Некрасова. Вновь оживет он лишь у Фета, Ап. Майкова. Нет в славянофильской поэзии и славянской мифологии (Даждьбог, Перун и проч.), что было популярно в поэзии начала века. Видимо, им претило и поэтическое язычество.

Но у славянофилов была своя излюбленная проповедническая интонация. Зная, что весь строй их мыслей идет наперекор сложившимся представлениям об истории России, о русской культуре после Петра Великого, они часто употребляли полемическую формулу, начинающуюся с «не»:

Не терпит бог людской гордыни,
Не с теми он, кто говорит:
«Мы соль земля...»
(*Хомяков, «Мы род избранный — говорили...», 1851*)

Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой...
(*Хомяков, «Раскаившейся России», 1854*)

У декабристов, например, конструкция с «не» встречается крайне редко, так как она несет в себе и позитивное утверждение, как следует поступить в соответствии с законами совести, гражданского долга. Например, у Рылеева: «Не тот отчизны верный сын. Не тот в стране самодержавья...» (дума «Волынский»). Или это «не» у Пушкина существует как чисто песенная формула противительного значения («Что не конский топ, // Не людская молвь...»). У славянофилов же это «не» имело зачастую догматический, не всегда очевидно доказательный характер. Ведь проповедникам трудно сознавать невыполнимость их требований.

Не наша вера к вам слетела,
Не то дает огонь словам...

Или:

Не соединит нас буква мненья.

Полемическое «не» славянофилов построено часто по принципу церковного заклинания, как евангельские заповеди: «не укради», «не убий»...

Не менее употребительна в поэзии славянофилов и проповедническая конструкция с предложением «за»: «И вот за то, что ты смиренна...» и проч. (Хомяков. «России», 1839). «За все грехи былых времен, За ваши каинские брани...» («Не говорите: «То бывшее...»). Иногда это звучит как плач или причитание: «Молитесь, плача и рыдая, чтоб он простил, чтоб он простил». Проповедническое заклинание: «Да будем чисты меж собой», «Вставай, Родина, вставайте, братья славяне» — наследует традиции переложения псалмов у Ломоносова и Державина. Крест с паникадиллом священника выступает как благословение господне, как окропление святой водой в стихотворении Хомякова «Беззвездная полночь дышала прохладой...». Сначала просто сообщалось, что есть реки славянские в разных краях: Лаба, Морава, Сава, Дунай, а потом посылалось благословение клира: «На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву.//На шумный и синий Дунай».

Стихи других поэтов-славянофилов не так математически строго построены, как у Хомякова. Но каноны противопоставлений с «не» и с «за» есть и у них. Логика мышления та же, но облечена в разные формы: у «нейстового» Константина Аксакова сильнее, у Ивана Аксакова слабее.

Не в блеске пышного мечтанья,
Не в ложном сладком полусне,
Не с красотой очарованья,
Бывало, жизнь являлась мне.

(1845)

По законам риторических кадансов, как тезисы пламенной речи, строит Константин Аксаков свои стихи о «Свободном слове»:

Ты — чудо из божьих чудес,
Ты — мысли светильник и пламя,
Ты — луч нам на землю с небес,
Ты нам человечества знамя!

Но конец этого стихотворения, к сожалению, тонет в волнах риторики. «Свободное слово», которого должны все бояться, нечто отвлеченное, никак не связано с гражданским мужеством. Это «свободное слово» призвано даже предотвратить «бунт», оно «защита» от мятежа, своего рода вовремя открываемый клапан. Так дискредитируется само понятие «свободное слово», прочно сложившееся в русской революционной и демократической печати как свободное от цензуры, от лжи и подкупа.

У славянофилов довольно много непрограммной лирики, особенно в раннем периоде. И тут можно по справедливости отметить ряд весьма удачных стихотворений.

Поэтических безделушек у славянофилов почти нет. Но Хомяков отдал дань и альбомной поэзии: «В альбом сестре» (1826), «В альбом П. А. Бартеневой» (1830), «В альбом С. Н. Карамзиной» (1832). В них подкупает изящество стиха, элегическая грусть, культ дружеского участия в житейской радости и беде друга. Так же поэтически изящны и философские размышления о всевидении поэта: «Вдохновение» (1831), «Жаворонок, орел и поэт» (1833). В его «Думах» (1831) выражено сознание своей поэтической силы:

Меня не свяжет свет холодный;
Настанет вдохновенный час:
И к жизни звучной я свободной,
Могучий, вызову я вас.

Как и у Ивана Киреевского в статьях и в письмах 1827—1830-х годов, здесь уже есть сознание того, что поэт призван сказать миру свои пророческие слова. К числу лучших стихотворений в русской поэзии тех лет

можно отнести хомяковский «Клинок» («Не презирай клинка стального...»), его же «Зиму», «Два часа» и в особенности «Две песни», «Горе». Протяжная песнь родного края заслоняет веселую песнь полуденных стран,— этот мотив родствен стихотворению декабриста А. Одоевского «Славянские девы». В конце своей жизни Хомяков написал несколько философских стихотворений, в которых в совершенной поэтической форме выразил пантеистические чувства в духе шедевров Тютчева: «Ночь» (1854), «Звезды» (1856).

У Константина Аксакова есть несколько прекрасных «студенческих» стихотворений, как бы возрождавших «лицейские годовщины» Пушкина и в свое время известных всей университетской молодежи. Какое поколение, скажем точнее, какой курс студентов не переживает известные чувства, когда на пороге самостоятельной деятельности оглядывается на пройденный путь и предощущает будущее? Студенческие годы — годы особенного братства, и Константин Аксаков сросся с историей Московского университета как певец его:

И вместе мы сошли сюда,
С краев России необъятной,
Для просвещенного труда,
Для цели светлой, благодатной!
Здесь развивается наш ум
И просвещенной пищи просит;
Отсюда юноша выносит
Зерно благих, полезных дум.
Здесь крепнет воля, и далекой
Видней становится наш путь,
И чувством истины высокой
Вздывается молодая грудь!

(1835)

Иван Аксаков воспел студенчество в стихотворении «В альбом П. А. Сазонова», по окончании училища правоведения (1842). Ему жаль студенческого классового равенства, «когда молодость собой равняла всех».

В начале жизненного поприща будоражат тревожные вопросы: кто кем станет? В стихотворении «На прощание» Ивана Аксакова, написанном при отъезде из Петербурга по окончании училища, явны ассоциации с пушкинским Лицеум:

К чему притворство? Нет меж нами,
Как меж лицейскими друзьями,
Ни вечных клятв, ни громких слов.

Вообще стихи о пробуждающемся сознании, утра жизни у славянофилов удавались, тут не было навязчивых, догматических концовок.

Если в «Фантазии» Константина Аксакова (1834) еще чувствуется ученик Жуковского, то написанное им вскоре стихотворение «Когда, бывало, в колыбели...» уже поэтически зрело и чрезвычайно оригинально:

Когда, бывало, в колыбели
Я плакал, малое дитя,
То мне в утеху песни пели,
Тогда баюкали меня.
И под родимые напевы
Я сном беспечным засыпал,
А голос песни сельской девы,
Слабея, тихо замолкал.
И эти звуки заронились
Глубоко в памяти моей,
И в этих звуках сохранились
Воспоминанья прежних дней.
Когда я их услышу снова,
То тихо встанет предо мной
Картина времени былого
С своей туманной красотой.

Константин Аксаков написал к дню рождения сестры Маши прелестное стихотворение «Мой Марихен так уж мал, так уж мал...» (1836). П. И. Чайковский положил его на музыку (1881), изменив имя: «Мой Лизочек». Кто не знает теперь этой «детской песни»? Слово из «Щелкунчика» Э.-Т.-А. Гофмана волшебник Дросельмейер научил малыша мастерить из ничего вещи:

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из крыльев комаришки
Сделал две себе манишки
И — в крахмал!

Вряд ли Константин Аксаков подслушал песенку в Германии. Он попал туда впервые только в 1838 году. Что послужило ему моделью вещи — не знаем! Комментаторы тоже молчат об этом.

А вот коротенькая юмореска Константина Аксакова «Ерш», написанная, видимо, в конце жизни (опубликована в 1926 году). Тут и намек нет на «смирение» русского народа, наоборот, говорится о его «ершистости» в духе старинного сказания «О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», обманывающего судей.

Телом мал, велик он духом¹
И точь-в-точь — Наполеон,
Даже, если верить слухам,
Не боится шуки он.
Серый, пестрый он кобою,
Чешуя его проста,
Весь вооружен он к бою
Ото рта и до хвоста.

Он пылает бранным жаром,
Хоть живет в прохладе вод,
И за то ерша недаром
Русский полюбил народ.

.....

Константин Аксаков умело пародирует трескучих романфиков, в частности В. Бенедиктова. Он опубликовал несколько таких пародий в «Телескопе» в 1835 году под псевдонимом К. Еврипидина: «Орел и поэт», «Гроза», «Степь».

В стихотворении «Русская легенда» Константин Аксаков пародировал балладный штамп Бенедиктова, подсказанный некогда Бюргеровой «Ленорой». Поэтому Ак-

¹ Ср.: «Мой Марихен так уж мал...» — та же модель образа

саков к своему псевдониму Еврипидин добавил еще один — Бюргеров. Он в стихотворных размерах «Леноры» удачно высмеял ложную многозначительность «бенедиктовщины», ее сумбурность и изжившую себя кладбищенскую романтику.

Вообще славянофилы были любителями пародий и шаржей, которые разыгрывали и на домашней сцене. У Хомякова есть дружеские послания и импровизации в духе молодого Пушкина и Языкова: «В стаканы чок! В губы чмок!» С подтруниванием над барскими охотничьими затеями написаны стихи: «Зимним вьюгам и морозам, // Рады заяц да поэт» (из послания «К***»). К шаржу был склонен и Иван Аксаков. Его «Простая история» (1841) написана с потугами на стиль шуточного пушкинского «Домика в Коломне» или лермонтовского «Сашки». Правда, с художественной стороны эти произведения очень слабы.

Собственно славянофильская поэзия имеет свои несомненные достоинства, особенности как гражданское обличение бюрократии, произвола, изображение народного быта. Этим она приближается к творчеству Некрасова, Щедрина, демократической поэзии 40—50-х годов. У славянофилов есть несколько стихотворений, которые могли бы по своим несомненным художественным достоинствам занять видное место в русской литературе и считаться на уровне классики.

В целом же славянофильская поэзия носит, к сожалению, доктринерский характер и больше представляет собой материал для историков литературы, чем самостоятельный художественный интерес.

ЧАЯНИЯ
«РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ШКОЛЫ»

У славянофилов было страстное желание создать в русской литературе свою особую «школу» в противовес преуспевавшей «натуральной школе», которая должна была явиться по своему духу истинно русской, носительницей и выразительницей исконных народных начал.

В «Московском литературном и ученом сборнике» 1847 года Хомяков поместил статью с вызывающим заглавием «О возможности русской художественной школы». Он говорил о ее «возможности» таким образом, словно «натуральной школы» и не существовало, а если она и существовала, то не заслуживала упоминания, поскольку явно была «не-русской». Еще раньше выступить на подобную тему его побуждал А. Студитский в «Москвитянине» в статье «О возможности самобытной русской или славянской драмы» (1842, № 12).

О «русской школе», «русском сознании», «жизненном начале», «самобытности» дружно и утомительно много, до крайности отвлеченно толковали в своих статьях все критики славянофильского лагеря.

«Полнота и целость разума во всех его отправлениях,— писал Хомяков,— требует полноты в жизни; и там, где знание оторвалось от жизни, где общество, хранящее это знание, оторвалось от своей родной основы, там может развиваться и преобладать только рассудок,— сила разлагающая, а не живительная, сила скудная потому, что она может пользоваться только

данными, получаемыми ею извне, сила одинокая и разъединяющая»¹.

Какое нагромождение отвлеченных софизмов: что такое «целостность разума»? «полнота жизни»? Чем они измеряются? Какой отсчет явлений здесь возможен? Откуда взялась «родная основа» и почему «рассудок» — сила разлагающая, заимствующая «данные извне»? А что такое «данные», получаемые «изнутри»?

Ведь все это кажется логичным только с точки зрения некоего априорного допущения, что есть действительно некая искомая целостность, органичность, а также ущербность и искусственность духа. На литературном материале эти положения никак не раскрывались. Из этого наспех сконструированного положения у Хомякова тут же следовал вывод: «Очевидно (?), что такое состояние мысли не допускает даже и возможности русской народной школы»².

Хомяков рассуждает так, будто имеет право говорить от лица «народности», будто, например, Белинский не добивался определения принципа народности. Хомяков только патетически провозглашает: «Художник не творит собственною силою: духовная сила народа творит в художнике»³. Оказывается, что этой благодати уже преисполнены славянофилы. В отличие от петербургских патриотов (западников), у Хомякова, как он сам уверяет, чувство к Руси произвольное, прирожденное, не прививное.

С другого конца эту же проблему затронул Ю. Ф. Самарин в статье «О мнениях «Современника», исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, кн. 2). Самарин напал на «натуральную школу», которая, на его взгляд, незаконно выдавала себя за общерусскую: журналы Петербурга протрубили о «самобытности»

¹ А. С. Хомяков. Соч. т. I. М., 1900, с. 73.

² Там же, с. 74.

³ Там же, с. 75.

этой школы и вывели ее за пределы общего развития русской литературы. Отец этой «школы» Гоголь изображает «пошлость» жизни. Но у него есть еще и вторая сторона — «душевная скорбная исповедь». «Натуральная школа» «взяла у него только первую сторону», она не имеет идеалов и не сумела ничего прибавить к Гоголю. Кроме того, она заимствовала свое направление у современной французской литературы, вместе с ее пристрастием к карикатуре, то есть клевете на действительность. Происхождение ее «двойственное», от «двойного подражания». Она, «следовательно, лишена всякой самостоятельности» и «далека от действительности...». «Не поддержанная ни одним сильным талантом, она должна исчезнуть...»¹ Отсюда вывод: тем более надо стремиться создать «свою» школу.

Константин Аксаков также заявлял, что наш самобытный общечеловеческий подвиг начнется только тогда, когда «воздвигнется наше русское воззрение»². Он и в стихах клеймил «натуралистов», которые, не зная народной жизни, пытаются внешне ее копировать.

В народе он подслушал *тоишь*,
А этот *его* приташил,
А тот *болезная* услышал,
А тот присловий накопил
И с ними в свет надменно вышел³.

Константин Аксаков в статье «Обозрение современной литературы» в 1857 году полемизировал с «Очерками гоголевского периода русской литературы» Чернышевского и утверждал как совершившийся факт: «В течение 10—12 последних лет она (русская литература.— В. К.) перепробовала несколько направлений. Невольно с улыбкою смотришь на все эти кратковременные восторги. Давно ли гордо возвышалась «натураль-

¹ Ю. Ф. Самарин. Соч., т. 1, с. 94.

² «Русская беседа», 1856, кн. 2, отд. «Смесь», с. 146.

³ Там же, отд. «Изящная словесность», с. 59.

ная школа»? Но скоро она затихла и присмирела, как будто ей стало совестно, и всем стало ясно, что она призрак»¹. Самарин пророчил в 1847 году ей гибель, а Константин Аксаков в 1857 году пел ей отходную. Но гибель школы была только в воображении славянофилов.

Хомяков основой подлинно русской школы считал народные песни. В предисловии к русским песням из собрания П. В. Киреевского он говорил, что песни помогают образованному обществу выйти «из нашего безродного сиротства»², перевоспитать себя. Как неожиданному подарку, он обрадовался опере М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин», 1844 г.). В рецензии он называл ее «явлением вполне русским», «пророчеством всечеловеческого братства», открывающим «новую эру». А эта эра характеризуется следующим: «Она создаст новые живые формы, полные духовного смысла, в живописи и зодчестве, были бы только художники вполне русские и жили бы вполне русскою жизнью»³. Словесность и музыка, по мнению Хомякова, дали уже великий пример истинно русского искусства — Гоголя и Глинку. Ему казалось, что здесь обозначился зачаток искомой славянофилами русской художественной «школы».

Успех «чисто русского» воззрения в области живописи Хомяков увидел в только что появившейся тогда картине А. Иванова «Явление Христа народу». Им выстраивался своеобразный «триумvirат» — Гоголь, Глинка, Иванов: «Их труд не есть труд личный», «это могучие и богатые личности, которые болеют не для себя, но в которых мы, русские, мы все, сдавленные тяжестью своего странного исторического развития, выбаливаем себе выражение и сознание».

Хомяков хвалит в картине Иванова величие избранного предмета, которое перешло в изображение. Спаси-

¹ «Русская беседа», 1857, кн. 5, отд. «Обозрение», с. 2.

² «Московский сборник», М., 1852, с. 324.

³ А. С. Хомяков. Соч., т. 3. М., 1914, с. 103.

тель поставлен на далеком плане, Иванов не впал в искушение выдвинуть его вперед. Даже у Рафаэля, Микеланджело много внешних подробностей: таков плод католицизма. Наш Иванов стоял на твердой почве и мог совершить то, что было невозможно для художников Европы... «Никогда вещественный образ не облакал так прозрачно тайну мысли христианской»¹. Великое дело совершил наш соотечественник.

На особое место славянофилы, во главе с семейством Аксаковых, ставили Гоголя.

Сергей Тимофеевич Аксаков был дружен с Гоголем. Гоголь часто бывал в доме Аксаковых, гостил у них. Оценки «Ревизора», «Мертвых душ» семьей Аксаковых были доброжелательными. Также, под влиянием непосредственных будничных впечатлений провинциальной жизни, Екатерина Ивановна Елагина (урожденная Мойер, невестка братьев Киреевских) писала А. П. Елагиной 17 декабря 1853 года: «Когда повидашь соседей, то увидишь, что в Гоголе, право, ничего нет преувеличенного»².

¹ А. С. Хомяков. Соч., т. 3. М., 1914, с. 360.

² ЛБ, ф. Елагиных, № 5, ед. хр. 67. А в более раннем письме к ней же, от 7 июня того же года, Е. И. Елагина обращалась к Марии Киреевской с просьбой: «А ты, Маша, перепишешь нам «Мертвые души»? Пожалуйста, душа моя, потрудись скорее это сделать, в деревне это истинное благодеяние» (ЛБ, ф. Елагиных, № 5, ед. хр. 66). Речь идет о переписке первого тома «Мертвых душ»; Гоголь уже скончался, и черновых рукописей второго тома тогда, конечно, никто так запросто в семейном кругу не читал и не переписывал; чистовик же Гоголь, как известно, сжег. Но просьба о переписке целого произведения, уже дважды издававшегося, характерная деталь эпохи. Так любили Гоголя, на каждом шагу видели подтверждение правдивости нарисованных им образов и в то же время нельзя было получить экземпляры его «Мертвых душ», «запрещен» он был после смерти (ведь за некрологи о нем получили наказание Иван Аксаков и И. С. Тургенев).

Несомненно, как все честно мыслящие русские люди, славянофилы, в особенности семья Аксаковых, искренне были восхищены талантом Гоголя, силой его реалистических образов. В меру своего собственного критического отношения к русской действительности славянофилы принимали отдельные стороны сатиры Гоголя. Они сами много говорили о необходимости «свободного слова» в суждении о непорядках в отечестве, нападали по-своему на крепостничество и засилие чиновничества.

Но на каждом шагу сказывалась в восприятии и оценке Гоголя известная ограниченность и тенденциозность славянофилов. Они ревниво отнеслись к возможности сближения Гоголя с Белинским, когда писатель секретно от них, зимой 1841 года, передал критику рукопись «Мертвых душ», чтобы тот способствовал прохождению ее через петербургскую цензуру. В это время Погодин всячески хотел привлечь Гоголя в свой журнал. Но писатель уклонялся от сближения как с лагерем «Отечественных записок», так и с лагерем «Москвитянина».

В 1842 году Константин Аксаков выдержал жаркую полемику с Белинским по поводу первого тома «Мертвых душ» Гоголя. Аксаков откликнулся быстро на выход этого произведения, написал брошюру «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души».

В неопубликованном письме к профессору Московского университета, историку, близкому славянофильским кругам, А. Н. Попову, который был в это время в Берлине (письмо без даты, но явно относится к сентябрю — октябрю 1842 года), Аксаков, среди других сообщений о нынешнем расцвете русской литературы, говорил о выходе первого тома «Мертвых душ»: «Сильнейшим подтверждением этого убеждения была поэма Гоголя «Мертвые души», в которых явилось такое чудо создания, такая великая, древняя классическая просто-

та, которая смогла явиться разве только в России, у народа цельного... (точки в оригинале.— В. К.), назначенного к великим подвигам. Я написал брошюрку о «Мертвых душах» наскоро для журнала, и она не попала в журнал (Шевырев не захотел), и я напечатал отдельно. На меня все напали, за исключением Самарина и Хомякова, со мною согласных... Хотелось бы мне послать вам ответ мой на подлое ругательство Белинского, написанное им на мою брошюрку в «Отечественных записках», но не знаю, удастся ли. Он помещен в «Москвитяине», а переписывать не стоит...»¹

Славянофилы считали, что Гоголь возродил «целостное», гомеровское мировосприятие, и отвергали решительно параллели между Гоголем и западными писателями. О своей согласии с концепцией Константина Аксакова Хомяков заявлял в следующем своем неопубликованном письме к С. П. Шевыреву осенью 1842 года: «Аксакову досталось от «Отечественных записок», да они, кажется, уже готовы и от Гоголя отступиться. Что за глупый народ! У них на одном ряду Сервантес, Байрон, Жорж Занд и Беранже. Аксаков увлекся далеко, но если он будет продолжать брошюрку свою, то, пола-

¹ ИРЛИ, ф. 3, оп. 8, № 16. Речь идет о брошюре К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» и едкого ее разбора Белинским в 8-м, августовском, номере «Отечественных записок» 1842 года. На этот разбор К. С. Аксаков напечатал в «Москвитяине» антикритику: «Объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» (1842, № 9). Об этом своем «ответе» и говорит Аксаков в письме. Но в ноябрьском номере «Отечественных записок» за тот же год Белинский еще более уничтожающему разбору подверг «ответ» Аксакова в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души». Дополнительные штрихи к этой полемике см. в письмах К. С. Аксакова к Гоголю.— «Русский архив», 1890, кн. 1, с. 152—159; кн. 8, с. 85—89, а также в письме Ю. Ф. Самарина к К. С. Аксакову.— «Русский архив», 1880, кн. 2, с. 298—302.

гаю, выйдет дельное. Он пояснит то, что без пояснения кажется смешным и нелепым. Мысль его главная в следующем: «искусство утратило везде свою беззаботную свободу, в нем более придуманного, чем самозабвенного. Гоголь (как древние и Шекспир) есть художник поневоле и без намерения». В этом много правды. «Отечественные записки» говорят: «Гоголь зарожден В. Скоттом, без В. Скотта он был бы невозможен». Это просто бессмыслица. Ничего общего нет между ними»¹.

Хомяков, в свою очередь, огрубляет мысль Белинского о связи Гоголя с мировой традицией. Но то, что он солидарен с Аксаковым, это ясно, и солидарен именно в главном.

Взаимоотношения между славянофилами и Гоголем не были идиллическими.

Гоголь иногда резко отзывался о всех славянофилах и даже о С. Т. Аксакове. Славянофилам нравился афоризм Гоголя в статье «Петербургские записки», опубликованной в пушкинском «Современнике» за 1836 год: «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия». Петербург — эксплуататор России — излюбленная тема стихов Константина Аксакова и многих деклараций славянофилов. Россия могла бы обойтись без Петербурга, а наоборот — нет.

Их подкупала «народность» «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Отзывы Гоголя о картине Иванова были в значительной мере в духе Хомякова. Точно так же была близка славянофилам его неприязнь к городу вообще и, в частности, к Западу («Рим»). Дружба с Жуковским, похвалы переводу «Одиссеи» как нравственному противовесу современной литературе (тут сам Гоголь сближался с К. Аксаковым), сдержанные отношения с лагерем Белинского — все это делало для них Гоголя «своим».

¹ А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1900, с. 420—421.

Кроме того, они хорошо чувствовали проповеднический элемент у Гоголя и старались развить его в нем. В словах: «Русь, куда несешься ты, дай ответ!.. Не дает ответа...» — слышались славянофилам родственные мотивы. На поставленный Гоголем вопрос о том, куда несется Русь, славянофилы старались дать свой ответ: все дело в поисках «светлых сторон» и в «примирении» с обществом; Русь якобы неслась к нравственному очищению, к выполнению своей исторической миссии учительницы всего человечества.

В одной из своих речей в Обществе любителей российской словесности в 1859 году Хомяков следующим образом определял место Гоголя в общей концепции истории русской литературы. Отметив «мучительную жизнь» гениев русской литературы — Пушкина, Баратынского и других, — Хомяков объяснял эти мучения все тем же пресловутым разрывом между просвещенным обществом и «землею», то есть народом. Что касается Гоголя, то и он страдал этим же недугом, но в ранних произведениях меньше, чем в поздних. Дело в том, как уверяет Хомяков, что в Малороссии не было разрыва между обществом и народом. Поэтому в «Вечерах на хуторе» все дышит у Гоголя простодушием и любовью. «В иных отношениях был Гоголь к нам, великоруссам, тут его любовь была уже отвлеченнее, она была более требовательна, но менее ясновидяща. Она выразилась характером отрицания комизма, и, когда неудовлетворенный художник стал искать почвы положительной, уходящей от его присков, томительная борьба с самим собою, с чувством какой-то неправды, которой он победить не мог, остановила его шаги и, может быть, истощила его жизненные силы»¹.

Славянофилы высоко расценивали второй том «Мерт-

¹ «Русская беседа», 1860, кн. 19, отд. «Изящная словесность», с. 15—16.

вых душ». С. Т. Аксаков писал сыну Ивану 29 августа 1849 года, что Гоголь у них читал второй том «Мертвых душ»: «Слава богу! Талант его стал выше и глубже»¹. Глубже именно в моралистическом смысле. Иван Аксаков в упоминавшемся некрологе подчеркивал: «Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (именно из второго тома «Мертвых душ»), и мы всякий раз чувствовали себя подавленными громадностью испытанного впечатления: так ощутителен был для нас этот изнурительный процесс творчества...»²

Обещание Гоголя изобразить со временем положительных Маниловых, Коробочек, Собакевичей критиковал весьма резко еще Белинский. Славянофилы же старались «положительным» началом нейтрализовать сатиру Гоголя, или сатиру расценивали как нечто временное, как средство достижения идеала. Нередко старые исследователи хвалили славянофилов за то, что они увидели двойственность Гоголя, а Белинский якобы ее не видел, что они как будто проникали глубже в противоречия Гоголя. Но это заблуждение. Славянофилы акцентировали противоречия в творчестве Гоголя, выпячивали его идеальные стремления, но они не понимали главного — реализма писателя. Они просто отстраняли все великое в творчестве Гоголя, а морализаторство сразу толковали не в сложном гоголевском смысле, а в своем собственном, антиреалистическом.

Славянофилы внимательно следили за развитием Гоголя в конце его жизни, они определенно хотели его «присвоить». Иван Киреевский просил Жуковского в 1845 году проследить за границей, каким образом будет развиваться «религиозное направление» у Гоголя, «кото-

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. II, т. 2, с. 217.

² «Московский сборник». М., 1852, с. X—XI.

рое, кажется, теперь овладело им»¹. Его последнюю книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» С. Т. Аксаков, а также Константин и Вера осуждали («Он сумасшедший», — писали они Ивану Аксакову 11 января 1847 г.). Иван Аксаков разъяснял им, что Гоголь в состоянии «перехода», что он искренен, преодолевает «кризис». «Книгу Гоголя, — писал Иван Аксаков родным, — надо читать не раз и не два, а двадцать тысяч раз! Я примирился с ним вполне и вижу, что все возводимое на него — вздор и что не погиб он для нас как юмористический писатель... Гоголь прав и является в этой книге как идеал художника-христианина, которого не поймет Запад так же, как и не поймет этой книги. Что за язык, господи боже мой, что за язык! Упиваться можно этим языком, лучшим всяких стихов. Серьезно надо взглянуть на эту книгу. Она способна пересоздать многих»². Иван Аксаков и был одним из первых, которых гоголевская книжка пересоздала, он нашел в ней стимулы для перехода к нравственно-религиозным исканиям. Но затем под влиянием родных Иван Аксаков также отрицательно стал относиться к этой книге Гоголя.

Славянофилы хотели целиком представлять интересы Гоголя на общественной арене, выдавали себя за людей, посвященных во все тайны его духа. И когда Гоголь скончался, славянофилы хотели превратить похороны его в своего рода групповую манифестацию. Интересно в этой связи неопубликованное письмо графини Салиас де Турнемир (Евг. Тур), адресованное А. А. Краевскому, видимо, из Москвы в Петербург и датированное весной 1852 года: «У нас едва успокоились, — смерть Гоголя

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2, с. 238.

² «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1, с. 407 (в этом издании приводятся в примечаниях и письма родственников к Ивану Аксакову. В частности, здесь можно найти и цитированное выше письмо от 29 августа 1849 года).

поразила всех и еще более сожжение 2-й части «Мертвых душ». До сих пор все любящие русскую литературу и славу ее не могут ни образумиться, ни утешиться. Потеря невозвратимая, и у нас на Руси остались только таланты весьма второстепенные и нет ни одного великого писателя. Бедность страшная. Гигант литературного мира унес все с собою в могилу,—после него не осталось клочка бумаги. Все это знают и, однако, не верят и ищут возможности отыскать то, что сгорело за несколько дней до смерти нашего великого Гоголя. Попытки отыскать у кого-нибудь копию или хотя отрывок из сочинений покойного нисколько не оправдываются успехом. Все приуныли, кроме славян (т. е. славянофилов.— В. К.), которые показали себя с тупой и крайне дурной стороны. Во время всеобщей скорби о погибших богатствах нашей литературы они занимались, как раскольники, отстаиванием каких-то прав на умершего и едва не дрались над его трупом. Было и жалко и гадко видеть их. Но всего не перескажешь, да и не стоит труда говорить о них много»¹.

Братья Аксаковы откликнулись на смерть Гоголя почувствованными статьями. Одну мы уже упоминали: «Несколько слов о Гоголе» Ивана Аксакова в «Московском сборнике» за 1852 год. Другая — Константина Аксакова — без названия, но условно ее можно озаглавить «Некролог о Гоголе»². Она не была опубликована, видимо, из-за цензуры³, и ее основные мысли были повторены в указанной статье Ивана Аксакова. Но и статья

¹ ГПБ, ф. 391 (А. А. Краевского), ед. хр. 689, л. 139—139 об.

² ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 82.

³ Отклик на смерть Гоголя был помещен в 8-м номере «Москвитянина» за 1852 год в заметке М. Погодина, искромсавной цензурой, в которой в форме «Отрывка из письма в Петербург» рассказывалось, как погребали Гоголя, и бегло упоминалось о творчестве писателя, его «судорогах смеха», «стиснутого до самой смерти» (с. 140).

Ивана Аксакова тотчас привлекла внимание бдительного начальства. В статье говорилось о Гоголе — «художнике-монахе», подвижнике, который много тайн унес с собой. Если он и был сатириком, то сатириком-христианином. Он отыскивал светлые стороны действительности и в этой мучительной работе сгорел и сжег свой труд перед смертью, внутренне неудовлетворенный результатами поисков идеала. Но славянофилы говорили, что идеал таким образом и нельзя было найти. Авторы обеих статей настаивали на другом: спасительные религиозные искания Гоголя не завершились¹.

¹ В архиве сохранился пространный и любопытнейший документ с цензурской критикой славянофильского апофеоза Гоголя. Главное управление цензуры особенно предосудительной нашло статью И. Аксакова «Несколько слов о Гоголе» (заглавие как бы дублирует гоголевскую статью «Несколько слов о Пушкине»). Эту статью, по мнению придирчивого цензора, не следовало бы печатать. Из изложения ее в деле видно, чего именно опасались власти и какие подозрения вызывала славянофильская любовь к Гоголю. Тут великолепно демонстрируется и тупая логика цензурского мышления, посылок и выводов. «Если он (то есть Гоголь.— В. К.) охвачен был предчувствием великих судеб, ожидающих Русь, то для чего же было ему страдать и каким образом он мог сделаться мучеником возвышенной мысли о Руси? Как согласить неразрешимую задачу, которая положила Гоголя в гроб, с предчувствием великих судеб, ожидающих Русь?»

С другой стороны, кто дал сочинителю статью право клеймить все современное общество печатью пошлости и ничтожества, от которых, будто бы из наболевшей души Гоголя, вырывались мучительные стоны? судить по героям «Мертвых душ» о целом русском обществе есть верх несправедливости, никому не дозволенной...

Все сии недомолвки и несообразности, при восторженном тоне и мистическом смысле целой статьи о Гоголе, не могут не вводить в заблуждение читателей, из которых многие, конечно, подумают, что он был коноводом какой-нибудь партии, которая, не довольствуясь настоящим благоденствием России, возмечтала дать нашему отечеству новое политическое бытие и направление. И в самом деле, по содержанию этой статьи можно не без оснований вообразить себе, что Гоголь имел притязание сделаться преобразователем России...» (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 2819).

Старик С. Т. Аксаков в конце жизни своими произведениями «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника» снискал такой большой успех у публики, что, казалось, ничего лучшего и желать для «школы» было нельзя. Поэтому славянофилы превозносили «отесеньку». Еще в упомянутом обзоре Константин Аксаков особо выделил творения своего отца: «Сочинения С. Т. Аксакова стоят совершенно особняком в литературе нашей...» Имелось в виду поговорить о них особо. Это и выполнил вскоре С. П. Шевырев в «Русской беседе».

Главные достоинства автора Шевырев видел в спокойствии «эпического» созерцания жизни, народности речи, полноте и цельности восприятия русской жизни, подробностях анализа.

«Детские годы Багрова-внука» — «биографический эпос, или эпическое сказание о детстве Багрова внука»¹, — писал Шевырев. Педагогика и психология стоят рука об руку в этом биографическом эпосе. Все сосредоточено вокруг образа ребенка. Но Сережа тих, сосредоточен в себе. Что же движет действие в этом произведении? Сначала чувство природы, потом отношения к отцу и матери. Затем движет действием пытливость и любознательность мальчика, смерть дедушки, семейные сцены, сестры, братья, дворня — весь этот реальный мир. Но социальные конфликты, все, что связано с Куролесовыми, зверствами крепостничества, Шевырев обошел. Он только подмечает, что Куролесовы потому и плохи, что связаны с городской жизнью. И дворня у них не так опрятна, как у Багровых. Шевырев коснулся и попыток Сережи приобщиться к миру крестьян, пахать вместе с ними, опроститься: «Как прекрасно это невыразимое чувство сострадания к работающим, которое во время жнитвы осенило в первый раз душу Сережи!

¹ «Русская беседа», 1858, кн. 10, отд. «Критика», с. 78.

Как хорошо его побуждение отвратить самому потового крестьянского труда, когда он просится бороновать землю, и как полезен ему урок, что он для того никуда не годится!»¹

Шевырев в данном случае разглядывал С. Т. Аксакова как бы со стороны: ни сыновья писателя, ни даже «свой» критики, такие, как Хомяков (братья Киреевские уже умерли), не могли так писать об «отесеньке», Шевырев вспомнил и давний спор с Белинским о возможности русской гомеровской эпопеи. Он видел в произведениях С. Т. Аксакова русские отголоски «Одиссеи», благотворный эпос². При этом Шевырев сетовал: как несправедливы бывают современные журнальные критики, когда они из «спокойно-эпического представления старой русской жизни, принадлежащего исключительно С. Т. Аксакову, извлекают против нее свои раздраженные, обвинительные доносы!»³ Имелись в виду, конечно, Добролюбов и другие демократические критики, писавшие об С. Т. Аксакове. Они якобы отыскивали элемент «страстного раздражения» у С. Т. Аксакова, которого на самом деле в его произведениях не было. Спокойное созерцание С. Т. Аксакова, считает Шевырев, — «не равнодушие». Мы все время чувствуем присутствие личности автора: «Особенно же счастливый характер этой личности заключается в том, что она сохранила в себе цельность и полноту жизни русского человека, какую трудно бывает встретить теперь в наших писателях»⁴. Этот здоровый цельный организм славянофилы искали в каждом новом писателе.

Истинной находкой для славянофилов, казалось, был молодой А. Н. Островский, испытавший на себе неко-

¹ «Русская беседа», 1858, кн. 10, отд. «Критика», с. 92.

² Там же, с. 75.

³ Там же, с. 69.

⁴ Там же, с. 72.

торое время влияние их учения, особенно младославянофилов — Ап. Григорьева, Т. Филиппова¹.

Островский затронул совершенно новый пласт русской жизни — купечество, сохранившее, как казалось славянофилам, предания старины, набожность, патриархальность. Тут, так сказать, сама тема много значила, доказывала, что существует еще нетронутая Русь с ее самобытными началами. Изображение этой среды (по выражению Добролюбова — «темного царства») первоначально у Островского сопровождалось некоторым любованием ею, примесью именно славянофильских иллюзий относительно того, что этот быт нравственнее «петербургского», послепетровского. Бытописатель замоскворецкой жизни, Островский легко противопоставлялся славянофилами писателям петербургской «натуральной школы», хотя это была фикция: Островский в сущности, в главном примыкал к этой школе.

Помимо апологетических статей Ап. Григорьева об Островском в «Москвитяине», в которых он, впрочем, установил и ряд существенных сторон творчества драматурга, в «Русской беседе» появилась и собственно славянофильская статья Т. И. Филиппова о драме «Не так живи, как хочется».

Т. Филиппов хвалил «светлый» взгляд Островского на русскую жизнь, на ее «заветные стороны». Писатель преодолел пафос «отрицания», которым была исполнена еще его пьеса «Свой люди — сочтемся». Теперь появились образы, которые внушены совсем другим взглядом на русскую жизнь. Он пишет о «народной жизни» и

¹ С. П. Шевырев хотел привлечь его к участию в «Москвитяине», он писал 6 мая 1848 года М. П. Погодину: «Есть какой-то г. Островский, который хорошо пишет в легком роде, как я слышал. Спроси г. Полова (профессор Московского университета.— В. К.), не может ли он спросить у него его трудов. Я посмотрел бы их, и потом обсудили бы условия...» (ГПБ, ф. 850, № 269).

освещает ее «с русской точки зрения». В русской жизни «между прочим скрыт ответ на многие важнейшие вопросы, предстоящие мышлению современного человека»¹.

Смысл статьи Филиппова крайне реакционный: он громит «натуральное направление» в литературе, ратует за ограничение личных свобод, за «христианский свободный обет». Достается от него Ж. Санд, автору романа «Лукреция Флориани», перед тем переведенного на русский язык и положительно оцененного «Отечественными записками» и «Современником». В этом романе отразилось свойственное Западу понятие о ненасытной жажде желания, произволе чувственности, эгоистических наслаждениях. У Руси — своя дорога, терпение, жизнь по божьему велению, ограничение страсти.

Надежду на дальнейшее развитие Островского по избранному им пути выразил и Константин Аксаков в упоминавшейся статье «Обозрение современной литературы».

Но истинные демократические симпатии Островского, приведшие его к сближению с «Современником», обозначились очень скоро. Зачислить его в свою «школу» славянофилам не удалось.

С большим интересом славянофилы обратили свой взор на другого, как им казалось, певца патриархальности, Л. Н. Толстого, уже заявившего себя трилогией «Детство», «Отрочество» и «Юность», военными рассказами.

Внимание С. Т. Аксакова на Толстого обратил И. С. Тургенев в связи с выходом в свет «Отрочества». Новый талантливый писатель понравился славянофилам. И даже можно говорить о влиянии Толстого на автора «Детские годы Багрова-внука». В 1855 году, заня-

¹ «Русская беседа», 1856, кн. 1, отд. «Критика», с. 72.

ты́ делами ополчения, Иван Аксаков писал родным 25 августа из Новгорода-Северска: «...прочел в «Современнике» Толстого «Севастополь в декабре». Очень хорошая вещь, после которой хочется в Севастополь,— и кажется, что не струсить и храбриться не станешь. Какой тонкий и в то же время теплый анализ в сочинениях этого Толстого»¹. Значит, мнение о его талантливости возникло не только от чтения одной вещи, здесь говорится о «сочинениях» Толстого. Перед славянофилами предстал Толстой патриотический, Толстой-художник.

Предстал он и как человек, отрицающий Запад. Тут налицо любимая тема славянофилов. Начались попытки привлечь Толстого на свою сторону². Иван Аксаков писал родным из Парижа в 1857 году 19 апреля/1 мая: «Толстой в Женеве. То, что мне рассказали про него,— очень характеризует его и с хорошей стороны. Можно ли было себе вообразить, что Париж его возмутил и оскорбил до глубины души; он не мог в нем оставаться. Кто-то посоветовал ему посмотреть казнь; а на него вид, как публично зарезывают человека, произвел такое впечатление, что гильотина снилась ему во сне»³. После этого Л. Толстой собрался из Парижа ехать немедленно.

Попытку привлечь Толстого предпринял и Хомяков. В 1859 году во время принятия Толстого в члены Общества любителей словесности, председателем которого был Хомяков, он выступил с речью. Он как бы оспаривал защищавшееся Толстым во вступительной речи «чи-

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 154.

² См. письмо А. И. Кошелева к И. В. Киреевскому от 14 марта 1856 года, где он говорит о своем знакомстве с Толстым и о попытках заинтересовать его участием в «Русской беседе» (ЦГАЛИ, ф. 236, оп. 1, ед. хр. 86).

³ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 317.

сто художественное направление». Он знал, что Толстой враждует по этому вопросу с «Современником». Но он по-своему «подправлял» сложного, противоречивого писателя: доказывал, что граф сам не вполне чужд тому направлению, которое называли «обличительным». В «Трех смертях» он сам развивал это направление, обличая черствость господ и проповедуя праведную смиренность народа, чахоточного мужика, в божие приемлющего смерть¹. Влекла же славянофилов к Толстому проповедь «непротивления», преклонение перед патриархальностью. Но как ни мерещился Толстой славянофилам «своим», как ни «подправляли» они его, он никогда не был «их».

Прокомментируем попутно одно из свидетельств графини Александры Андреевны Толстой (двоюродной тетки писателя, чрезвычайно религиозной) о том, что Л. Н. Толстой «...часто читал мне любимые его стихи Тютчева и некоторые Хомякова, которые он ценил особенно; и когда в каком-нибудь стихотворении появлялось имя Христа, голос его дрожал и глаза наполнялись слезами...»². Свидетельство относится к позднему Толстому, оно очень однобокое и не характеризует сколько-либо особого увлечения Толстого Хомяковым. В письме к самой А. А. Толстой в конце ноября 1865 года он с про-

¹ Перед тем в одной из своих речей Хомяков специально обосновывал необходимость обличительной литературы: она «есть законное явление словесной жизни народа; я скажу более, она — не только законное явление, но явление необходимое и отрадное». Она есть «выражение скорбящего и негодующего самопознания общественного. Я позволю себе сказать, что она есть как будто публичная исповедь общества...». А в наступившее сейчас время гласности — и подавно. «Официальное самохвальство» «развращает надолго нравы самой литературы». Только «свободная, елико возможно свободная гласность может очистить нашу умственную атмосферу...» («Русская беседа», 1860, кн. 19, отд. «Изящная словесность», с. 1, 2, 5).

² «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, с. 35.

нией отзывается о культуре Хомякова, сложившемся в славянофильской среде¹. В 1877 году в письме к Г. А. Захарьину Толстой сообщал, что по прочтении сборника стихотворений Хомякова он не получил ожидаемого впечатления: «Я ждал больше»². Последняя фраза может свидетельствовать, что только с этого момента Толстой «вчитался» в Хомякова, а до сих пор судил о нем, видимо, по слухам и на основе личных отрывочных впечатлений от отдельных его стихов, читанных в свое время в периодике. В библиотеке Яснополянского музея сохранился экземпляр четвертого издания стихотворений Хомякова (М., 1888) с карандашными пометками, вероятно, Толстого³. О чем они свидетельствуют? Толстого заинтересовали не программные, собственно славянофильские стихотворения Хомякова, а в основном ранние стихотворения романтического, пантеистического толка: о слиянии души с космосом, об отдохновении от «дум неугомонных»⁴. И только в стихотворении «Остров» оказались отчеркнутыми программные строки:

Но за то, что церковь божью
Святотатственной рукой
Приковала ты к подножью
Власти суетной, земной...

Но можно ли на этом факте строить какие-либо далеко идущие выводы? Толстой считал, что церковь и в России прикована к светской власти и не свободна. А мысль

¹ «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», с. 215.

² Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 62. М.—Л., 1955, с. 321.

³ См. кн.: Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. М., «Книга», 1975, т. 1, ч. 2, с. 416—417.

⁴ Толстой отчеркнул четыре последние строки в стихотворении «Заря» (1826), восемь строк со слов «Ложуся спать...» в стихотворении «На сон грядущий» (1831), два последних в «Зиме» (1831); целиком ему понравилось «Вдохновение» (1832), четыре последних строки в «Элегии» (1834), четверостишие в начале и в конце «Звезды» (1853) и самый конец из четырех строк в стихотворении «Жаль мне вас, людей бессонных...» (1853).

Хомякова заключалась именно в противопоставлении православной Руси погрязшей в расчетах буржуазной Англии¹.

Самые убежденные, как казалось, «певцы патриархальности» только на какой-то миг подавали поводы считать их близкими славянофилам. В одном только случае славянофилам повезло, но и то эта похвала была небольшая. Константин и Иван Аксаковы высоко чтит писательницу Н. С. Кохановскую (Соханскую) за ее «положительное» творчество с точки зрения славянофильской доктрины². Хомяков в одной из своих речей в связи с повестью Кохановской «После обеда в гостях» заявил, что: «Никогда, может быть, со времени нашего бессмертного Гоголя, не видали мы такой светлой фантазии, такого глубокого чувства, такой художественной истины в вымысле, как в произведениях, подписанных именем г-жи Кохановской»³. Преувеличенность такого рода похвалы очевидна⁴.

¹ А. А. Толстая обращала внимание Л. Н. Толстого на только что появившуюся в «Русской беседе» повесть И. В. Киреевского «Остров» и хвалила ее моралистический и религиозный пафос. Но Толстой-реалист, кажется, вовсе прошел мимо этого фантастического и слабого произведения. Не бесследными могли быть указываемые А. А. Толстой настойчивые советы Киреевского, чтобы молодой писатель приучал себя к ежедневному чтению Евангелия (см.: «Переписка...», с. 1111—1112). Правда, в раннем творчестве Л. Н. Толстого и эти религиозные увлечения еще не дали своих «всходов».

² См.: Н. Н. Платонова. Кохановская. Биография. СПб., 1909, с. 89—92 и др.

³ «Русская беседа», 1860, кн. 19, отд. «Изящная словесность», с. 31.

⁴ М. Е. Салтыков-Щедрин при всей снисходительности своей рецензии на повести писательницы Кохановской (1863) отмечал все же «односторонность» ее отношения к действительности, предпочтение всему новому «известных идеалов прошедшего», «бедность и фальшивость» теории смирения и прощения. См.: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. V. М., Гослитиздат, 1937, с. 315—329.

Славянофильская школа не получалась. С миру по нитке она собиралась и тут же расползалась. Итак, кто же входил в школу? С. Т. Аксаков, Кохановская — это вполне «свои». Гоголь, Островский, Толстой — чистая условность. Глинка и Иванов — не литература, и, конечно, присвоение их было большой натяжкой.

Тогда в поисках опоры славянофилы начали отрывать от «натуральной школы» самых ее активных участников. Славянофилы надеялись на успех. Дело, конечно, не только в «кознях» славянофильства, хотя и в этом им отказать нельзя; дело в некоторых зигзагах развития самих писателей «натуральной школы». Славянофилы охотно обманывались внешним сходством и возводили его в нечто родственное себе.

Благосклонный взгляд был брошен даже в сторону Некрасова. Иван Аксаков познакомился с поэтом в Париже в 1857 году: «Он чрезвычайно робок и застенчив: в нем тоже что-то шевелится»¹. Аксаков почувствовал у Некрасова мотивы смирения, отразившиеся в его стихотворении «Тишина» (1857). Но все же «шевелилось» в Некрасове совсем не то, что могло сблизить его со славянофилами. Тем не менее и то, что вело Некрасова к «Коробейникам», «Кому на Руси жить хорошо», в отдельных мотивах было приемлемо для славянофилов. Константин Аксаков хвалил в известной нам обзорной статье «силу выражения в поэме «Саша». Нет-нет да и любовно переписывали славянофилы отдельные его стихи, видимо, проникаясь их завидной силой. Так, на обороте рукописи адреса в честь Николая I рукой Константина Аксакова было переписано стихотворение: «У бурмистра Власа...», то есть «Забятая деревня»². Барин в этом стихотворении в своем отношении к

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 324.

² ИРЛИ, ф. 3, оп. 8, № 21.

крестьянским нуждам очень напоминает аксаковского Глуповицкого. Таков мог быть в глазах славянофилов и некрасовский путешественник граф Гаранский. В разных архивных фондах часто попадаются списки любопытного стихотворения «Шарманка» неизвестного автора¹. Оно много лет приписывалось Некрасову, что, видимо, неверно. В собрание сочинений Некрасова оно не вошло. В разное время «Шарманку» приписывали также И. И. Лажечникову, В. Р. Зотову². Сестра Некрасова А. А. Буткевич считала это стихотворение некрасовским. Но других доказательств принадлежности «Шарманки» Некрасову нет. Вопрос о его авторстве до сих пор остается открытым³. «Шарманка» ходила в списках по рукам, в ноябре 1857 года она была опубликована Герценом в «Колоколе».

Из приводимого ниже в примечаниях текста «Шарманки» видно, как она искусно подлажена под стиль Некрасова с выпадами против уваровской триединой формулы. И в то же время по содержанию «Шарманка» — стихотворение славянофильское, оно направлено против петровских реформ. Это, конечно, не Некрасов. Автор взял в качестве героя как бы одного из «петербургских шарманщиков», описанных в известном очерке Д. В. Григоровича, и наделил его славянофильскими настроениями. Отчасти эта вещь упреждает пародийную «Русскую историю от Гостомысла до Тимашева»

¹ ИРЛИ, ф. 57 (архив С. Г. и М. Н. Волконских), оп. 4, № 229. Другой список ИРЛИ расположен на одном листе со стихотворением Константина Аксакова «Свободное слово», но сделан не его рукой...

² См.: «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 78 1959, с. 113 (статья Б. Ф. Егорова).

³ См. статьи: В. Евгеньева.— «Заветы», 1913, № 2, с. 119 — 125; Е. Бушканец.— «Известия ОЛЯ АН СССР», 1962, вып. 2, с. 343; А. М. Гаркави.— Некрасовский сборник, т. V, Л., «Наука», 1973, с. 153.

А. К. Толстого. Тут речь и о варягах, и о татарах, и польских интервентах, и о Петре I, и Николае I, и Александре II¹.

Привлекали внимание славянофилов крестьянские темы в творчестве двух других активных участников «натуральной школы» — Д. В. Григоровича и И. С. Тур-

¹ Хотя «Шарманка» в советское время была включена в сб. «Вольная русская поэзия второй половины XIX века» большой серии «Библиотеки поэта» (1959), тем не менее, ввиду неясности вопроса об авторстве Некрасова и в связи с тем обстоятельством, что «Шарманка» прижилась в круге славянофилов, считаем нужным привести для дальнейших исследований ее полный текст по списку ИРЛИ: он несколько не уступает уже опубликованному, а местами и превосходит его:

По дворам таскал старик
Тридцать лет шарманку,
Он вертеть ее привык.
Вертит спозаранку.
Вертит полностью глухой
На потеху людям;
Но шарманки той плохой
Мы не позабудем:
Что за музыка?.. ей, ей,
Не поймешь, хоть тресни,
И всего-то было в ней
Три плохие песни:
Бога славил а одна,
А царя — другая,
Третья (ужас как длинна) —
Честь родного края.
Многих не было в ней нот,
Так что слушать гадко,
Все визжит, брэнчит, скребет,
Не выходит гладко.
И не то, чтоб стар уж так
Инструмент потешный,
Сколотил его варяг,
Северяк не здешний,
Им потом пошла вертеть
Русолюбов стая, —
Что за музыка была!

Бестолочь родная!
Тут им как-то завладел
Молодец-татарин
И шарманкой завертел,
Как деревней бариц!
С нею пробовал потом
И поляк возиться,
Но ни лаской, ни дубьем
Ладу не добился!
Все фальшивила она,
Шла вразлад со светом —
Инструмента ли вина,
Мастера ли в этом?
Леший сам не разберет!
Вскоре отыскался
Для шарманки доброхот
И чинить принялся.
Придал он ей новый вид
На манер немецкий.
А шарманка все скрипит
И пищит по-детски.
Вот шарманкой завладел
Наш шарманщик ярый,
Повернул, пересмотрел, —
Был он малый с жаром,
Он навел на крышку лак,

генсва, благословленных самим Белинским. В 1849 году Иван Аксаков делился с родными своими впечатлениями от таланта Григоровича, по-своему толкуя его своеобразие как бы вне «натуральной школы». «Встретил я на днях Григоровича, которого не узнал сначала, но который меня узнал и искренно обрадовался. Мне самому весело было на него смотреть. У него есть положительный талант и талант, чисто свалившийся с неба, не подготовленный ни умом, ни образованием, ни направлением, как это теперь часто бывает, так что не различишь, что талант, что ум... И потому-то и весело мне бывает слышать в ком-либо присутствие такого таланта, этого гостя независимого, бог знает откуда пришедшего... Он записал мой адрес и хотел у меня быть...»¹ Но отношения с Григоровичем не наладились: видимо, прежние отзывы о Григоровиче были слишком прохладными и в «Московских сборниках» и в «Москвитянине».

Починил онаружи,
А внутри осталось так,
Даже стало хуже.
Сам он видел, что она
Уж пришла в негодность.
Что в ней лопнула струна,
Певшая народность.
Что остыла в ней давно
Песня православья,
Что исправить мудрено
Хрип самодержавья.
«Но в починке труд большой,
А на век мой станет,
Да и внутрь шарманки той
Ведь никто не взглянет»,
Так шарманщик рассудил,—
Ловкий был детина,
И шарманку ту завалил

Он на плечи сына.
Сын справляет день и ночь
Старую работу,
Хоть вертеть еще невмочь,
Да и нет охоты.
В том труде не быть пути,
Так и жди — порвется.
И уж как ты ни верти,
А чинить придется.
Благо есть теперь досуг,
Взяться бы за разум:
Хуже будет, если вдруг
Распадется разом;—
Если ты под звук заснешь
Льстивого напева,
Позабывшись повернешь
Вместо вправо — влево.

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. 2, с. 142.

Почти через десять лет, в обстановке нового общественного подъема, Константин Аксаков в обозрении современной литературы пытался развить свою славянофильскую теорию относительно значительно выросшей в русской литературе крестьянской темы и внести свои коррективы в ее утвердившуюся и единственно верную трактовку Белинским, Герценом, Добролюбовым, Чернышевским. Он выискивал у писателей что-то «новое» для нужной ему идеализации мужика и поругивал их за родимые пятна «натуральной школы». «Прикосновение к крестьянину,— писал Аксаков,— и в лице его к земле русской подействовало освежительно на писателей с талантом,— и крестьянин, взятый сперва как *самый натуральный субъект*, невольно представился им, хотя далеко еще не вполне, с другой, высшей своей стороны. Эта честь прежде всего принадлежит Тургеневу, за ним Григоровичу (в его «Деревне» крестьянин выставлен еще в духе «натуральной школы»)»¹. Крестьянин стал предметом повестей, романов и даже драм. Лестно Аксаков отзывался о Григоровиче: «Антон Горемыка», «Смедовская долина», «Рыбаки» — начало «народного» направления. «Это направление утешительно, хотя изображение крестьянина почти всегда поверхностно и постоянно является ниже подлинника»².

Но особенно много внимания славянофилы уделяли Тургеневу. В «Записках охотника» рассказы «многие истинно прекрасны», — писал К. Аксаков, — в них «живая струя России, струя народная». Писатель приблизился к той «великой тайне жизни, которая лежит в русском народе». «Яков Пасынков», «Муму», «Постоялый двор» — решительный шаг вперед. Дай бог г. Тургеневу продолжать по этому пути». Это писатель, «не каменею-

¹ «Русская беседа», 1857, кн. 5, отд. «Обозрение», с. 17.

² Там же, с. 23.

щий в ошибочно избранной форме, но имеющий силы отделаться от ложного определения»¹. Слова о «тайне» русского народа, об умении Тургенева «отделаться» от ложного направления имели прямую цель увести писателя в свое лоно.

Семья Аксаковых познакомилась с Тургеневым в 1849 году. Встречались в Москве, в Абрамцеве. С. Т. Аксаков посылал ему на предварительный отзыв рукопись своих «Записок ружейного охотника». Они вызвали одобрение Тургенева. И наоборот, Аксаков высказывал свои критические суждения о «Рудине» и других произведениях писателя. Послал Тургенев С. Т. Аксакову и повесть «Постоялый двор». С. Т. Аксаков отметил правдивость повести: в ней изображена русская драма, потрясающая душу. Причина трагедии — крепостническая система, воспитавшая кротких Акимов. Но С. Т. Аксаков идеализировал и образ Наума в духе христианского всепрощения. Наум должен был простить Акима, хотевшего поджечь постоялый двор. Сам Тургенев был в целом доволен разбором «Постоялого двора» С. Т. Аксаковым. Когда же Тургенев, видимо, по цензурным соображениям, позднее несколько смягчил антикрепостническую направленность повести, то Аксаков выразил ему свое неудовольствие. Тургенев почти полностью восстановил прежний текст.

Сыновья относились к Тургеневу более сдержанно, чем отец. Правда, Константин и Иван похвалили идеализацию кротости в образе Акима в рассказе «Постоялый двор»: тут есть все, что возвышает русского человека над европейцем. Рассказ «Муму» порадовал славянофилов тем, что тут выведен образ смиренного мученика Герасима. Константин Аксаков придавал этому образу некоторую «многозначительность». Но Константин Аксаков критиковал поэму «Помещик», удостоившуюся по-

¹ «Русская беседа», 1857, кн. 5, отд. «Обозрения», с. 19, 20, 22.

хвал Белинского как «физиологический очерк» помещичьего быта. Даже «Записки охотника» первоначально не сблизили Константина Аксакова с автором: ему не нравился критический пафос этих очерков. Тем не менее, не покладая рук славянофилы хотели сделать Тургенева сотрудником своих изданий. 24 апреля/6 мая 1857 года Иван Аксаков писал родным из Парижа: «Тургенев едет на днях в Англию и начинает чувствовать симпатии к англичанам: это шаг вперед в его развитии. Как ему достается от приятелей за все его последние сочинения, начиная с «Рудина»¹. Он якобы изменяет прежним мнениям, взглядам и принципам.

В одном из писем к Тургеневу Константин Аксаков полнее высказался о том, чего они от него хотят. Но писатель решительно не согласился с программой умиротворенного творчества. Он отвечал Константину Аксакову: «Трудно современному писателю, особенно русскому, быть покойным,— ни извне, ни изнутри ему не веет покоем... Но я знаю, что здесь именно та точка, на которой мы расходимся с вами в нашем воззрении на русскую жизнь и на русское искусство: я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где вы находите успокоение и прибежище эпоса...»² В последней фразе чувствуется отголосок полемики Белинского с Аксаковым по поводу «Мертвых душ» и Гоголя — Гомера... Тургенев смотрел на вещи глазами своего идейного учителя.

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 324. Поясним два места в письме. После поездки Хомякова и его очерка об Англии славянофилы чувствовали себя уже монополистами в этой теме и следили за «превращениями» в англоманов других, даже инакомыслящих людей. Аксаков допускал еще мысль, что в «Рудине» есть карикатура на бывшие западнические увлечения кружка Белинского — Бакунина.

² И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. Письма, т. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 72.

Константин Аксаков вообще настороженно относился к Тургеневу. Еще до знакомства, в 1847 году в «Однодворце Овсяникове» Тургенев высмеял его в образе помещика-славянофила Любозвонова... Когда в 1852 году, уже после личного знакомства, рассказ был перепечатан снова в отдельном издании «Записок охотника», это вызвало обиду у Константина Аксакова. Иван Аксаков пенял Тургеневу за это в письме.

Аксаковы всегда видели в Тургеневе классического «западника». Вера Аксакова постоянно неодобрительно отзывалась об их госте в Абрамцеве.

Одна из последних попыток славянофилов превратить нового писателя в «своего» была предпринята по отношению к только что возвратившемуся в 1856 году из ссылки М. Е. Салтыкову-Щедрину. Этому вопросу С. А. Макашин посвятил специальную главу в недавно вышедшей в свет второй части предпринятого им капитального труда по исследованию биографии и творчества великого сатирика¹.

В августе 1857 года Салтыков писал своему другу И. В. Павлову: «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления»². Писатель быстро познакомился со всеми главными деятелями славянофильства: Хомяковым, братьями Аксаковыми, Кошелевым, Самариным. В это время им создавались «Губернские очерки». Обличение «теней» чиновничества — излюбленная тема и славянофилов. На молодого писателя оказали влияние некоторые страницы «Семейной хроники» и «Детства Багрова-внука», разъясняющие внутренние стороны на-

¹ Подробно этот вопрос освещен также в статье Н. В. Яковлева «Щедрин и Аксаковы в пятидесятых годах». — Труды отдела новой русской литературы АН СССР, М.—Л., 1948, т. 1.

² «Литературное наследство», т. 67, с. 458.

родной жизни. Особенно это отразилось у него в главе «Богомольцы, странники и проезжие».

У Щедрина есть пародии на любителей игры в софизмы отвлеченно-идеалистической диалектики в очерках «Озорники», «Владимир Константинович Буеракин». В «Губернских очерках» Щедрин ставит солдата и странницу выше какого-нибудь писаря или лакея, а простой народ выше купца Хребтюгина, выше дворян и чиновников. Все это перекликается с «Опытом синонимов» Константина Аксакова. В славянофильской «Молве» 1857 года появились щедринские очерки «Богомолки», «Еще богомолки и богомольцы». Константин Аксаков сочувственно отозвался о «Губернских очерках» в своей статье «Обозрение современной литературы» («Русская беседа», 1857, кн. 5) и «от души» желал успехов автору.

Но контакты имели у Щедрина лишь локальное значение. Щедрин не пошел по пути идеализации смирения и патриархальщины, как требовали славянофилы. Просто — это тематическая встреча, правдивый художник не мог пройти мимо народных типов. В каких-то пределах этого требовала простая художественная объективность. Кроме того, в ту пору сами славянофилы еще стояли за отмену крепостного права и либеральничали в печати. Нельзя не согласиться с главным выводом С. А. Макашина: «...о версии относительно славянофильства Щедрина не приходится, однако, много говорить, до такой степени мировоззрение и творчество писателя противостоят сути этого направления»¹. Слова Щедрина «гну в сторону славянофильства» означали только то, что писатель заинтересовался народным бытом, а в те годы славянофилы первенствовали в области изучения быта и фольклористической деятельности. Позже их пути решительно разошлись.

¹ С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. М., «Художественная литература», 1972, с. 151.

Взаимоотношения славянофилов с Достоевским были сложнее, чем с остальными деятелями русской литературы. Писатели, о которых шла речь выше, только в молодости так или иначе соприкасались со славянофилами. Достоевский же заинтересовал их позднее, уже как сложившийся писатель. Как «почвенник» он многим обязан славянофилам, но в то же время много и им дал, когда их движение выдыхалось, приобретало открыто реакционный характер, а он был в зените своей славы¹.

Один образ славянофильствующего отступника от западничества Шатова в романе «Бесы» чего уже стоил, был высокой похвалой захиревшему движению. Славянофильствуют Мышкин, Версилов, Алеша и Зосима, сам Достоевский в письмах к Победоносцеву, в «Дневнике писателя».

А начинались отношения в 40-х годах с отрицательной оценки Достоевского славянофилами как одного из активных участников «натуральной школы», придавшего своими первыми произведениями ей огромную силу и авторитет. Иван Аксаков, еще только наслышанный о том, как был принят Достоевский в кругу «Отечественных записок», до выхода в свет «Бедных людей», с иронией писал родным 15 декабря 1845 года: «Сии последние (то есть «Отечественные записки». — В. К.) нашли новую звезду, какого-то Достоевского, которого ставят чуть ли не выше Гоголя, находя в Гоголе много славянофильского духа!»² Ирония по адресу Достоевского слышалась и в позднейших выступлениях Константина Аксакова и

¹ Соотношение взглядов «почвенника» Достоевского и славянофилов хорошо исследовано В. Я. Кирпотиним в монографии «Достоевский в шестидесятые годы». М., «Художественная литература», 1966, с. 73—108 и др. См. также: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 1861—1863. М., «Наука», 1972; и ее же: Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха» 1864—1865. М., «Наука», 1975.

² «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1, с. 313.

Самарина. Соответственно и со стороны Достоевского была неприязнь к славянофилам, например, в статье «Санкт-Петербургская летопись» (1847). А перед тем он сообщал брату 8 октября 1845 года о готовящемся выступлении Некрасова против славянофилов в альманахе «Зубоскал», который, однако, был целиком запрещен цензурой и света не увидел.

Но затем Достоевский-каторжанин надолго выбыл из поля зрения славянофилов. А еще позже славянофилы и их друзья снова начинали приглядываться к «почвеннику» Достоевскому. Когда Достоевский опубликовал объявление о своем журнале «Время», М. П. Погодин в письме к С. П. Шевыреву 20 октября 1860 года зафиксировал: «...программа последнего списана как будто с программы «Москвитянина»¹.

Их не могли не привлечь рассуждения Достоевского о смиренной мудрости народа, о народе-богоносце, которые сильно напоминали их собственные. Выводя резюме из им же самим преподанной притчи-морали в «Мужике Марее», Достоевский вопрошал: «Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?»²

Отрицательное отношение к революции, разобщение «верхов» и «низов» в русском обществе, мечта об их

¹ ГПБ, ф. 850, № 445. Мы уже указывали, что «Остров» Ивана Киреевского мог как-то косвенно повлиять на сон о «золотом веке» Версилова в «Подростке» Достоевского (помимо указания Достоевского на вдохновляющее для него значение картины Клода Лоррена «Морской пейзаж с Ацисом и Галатеей», увиденной в Дрезденской галерее). Мог повлиять «Остров» и на другое произведение Достоевского — «Сон смешного человека». «Остров», как известно, был впервые напечатан в «Русской беседе» 1858 года и затем в собр. соч. И. Киреевского 1861 года. См.: В. И. Кулешов. Славянофилы и романтизм.— В сб. «К истории русского романтизма». М., «Наука», 1973, с. 328.

² Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв., т. XI. М.—Л., 1929, с. 191.

внеклассовом единении — все это общее у славянофилов и Достоевского. Но Достоевскому претила их «боярская», «аристократическая сытость», освящение крепостничества на основе «божеской законности», глухота к народным страданиям, их «маскарад» с переодеваниями в старинные платья. Достоевский был современным боевым искателем правды, ратовавшим за просвещение народа, за единение на почве ликвидации привилегий. У него была боль за обездоленных. Его полемический выпад против славянофилов наиболее ярко выразился в статье «Два лагеря теоретиков» («Время», 1862, № 1).

Интенсивные контакты с писателем установились только у Ивана Аксакова, пережившего всех своих соратников. Особенно он сблизился с Достоевским в дни известных пушкинских торжеств в Москве. Речь Достоевского о Пушкине потрясла Аксакова. Как писал сам Достоевский жене: «Аксаков <Иван> вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя *есть не просто речь, а историческое событие!*»¹ (Заметим, что в таких же словах Хомяков отзывался о картине Иванова «Явление Христа народу».) Историческое значение речи Достоевского Аксаков усматривал в проповедуемом писателем духе примирения, христианского «братства» и «равенства». Он благодарил Достоевского за дополнительные разъяснения смысла речи в «Дневнике писателя», так как она произвела действие электрического разряда, «прожегши души немногим», и не каждый усвоил со слуха ее глубокий смысл. Конечно, и тут происходило явное «присвоение» сложного и противоречивого Достоевского. Но много было и правды, когда Аксаков пояснял в письмах к Достоевскому то, что, собственно, роднит их: «Мы с вами под знаменем Христа». Доброжелательные отзывы Аксакова о «Речи» были высоко оценены

¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV. М., Гослитиздат, 1959, с. 171.

Достоевским, ждавшим откликов: «Никогда еще в моей жизни я не встречал критика столь искреннего и столь полного участием к моей деятельности, как теперь вы. Я даже забыл и думать, что есть и что могут быть такие критики»¹.

Это, конечно, голос писателя, утомленного журнальными нападками, непониманием критиков. Но дело не только в приветливости тона аксаковских похвал. Несомненно, Достоевского привлекало идейное созвучие со славянофилами. Он не мог не сознавать, что на самом деле его проповедь «смирись, гордый человек» афористически выражала как его собственное заветное убеждение, так и «подытоживала» давние чаяния славянофилов. Начинаясь же эпоха 80-х годов способствовала такому открытому альянсу «почвенничества» и старого славянофильства.

Иван Аксаков, как бы получив соответствующую санкцию, тем более имел право «присвоить» Достоевского после его кончины. Ни одного либерала, проповедника «западных» идей и учреждений, так не хоронили, как Достоевского. А этот писатель был к тому же ярким противником самих этих идей и учреждений. В специальной заметке «По поводу смерти Достоевского» («Русь», 1881), по горячим следам грандиозных и торжественных похорон, Иван Аксаков пытался превратить Достоевского в некий символ эпохи и народности: «Политические убеждения русского народа были его убеждениями». Достоевский не позитивист, не материалист, а если и социалист, то в духе Евангелия; «русский народ спасется всесветным единением во имя Христова. Вот наш русский социализм». Вот как осовременивал Аксаков Достоевского и славянофильство, допуская это деликатное «а если»... Много родственного себе видел Аксаков в одном из коренных тезисов Достоевского:

¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV, с. 198.

долготерпение и смирение русского народа — это путь к очищению и в царство божие.

Мы уже убеждались, что всякий раз, когда славянофилы подходили к границам сопредельных, в целом враждебных им идеологических систем или акций, они старательно предупреждали: не спутайте наш либерализм с тем, что провозглашал Белинский, наше «свободное слово» ничего общего не имеет с западничеством вольномыслием и с их пропагандой. Мы тоже изображаем действительность, но не извлекаем на свет божий всю «тину мелочей», как это делает «натуральная школа».

Так поступал Иван Аксаков и здесь: тот, кто вообразит Достоевского «только наставником гуманности, *заодно* с другими нашими писателями отрицательного направления, тот или поступает недобросовестно или ничего не смыслит»¹. Достоевский сочувствовал не представителям таких-то и таких-то классов и сословий, страждущих от «внешнего» неравноправия и своего социального положения, он изображал всечеловеков, его интересовало высшее братство, братство во Христе. Следует признать, что Аксаков подошел к важной теме, которая обсуждается и сейчас мировой общественностью: певцом чего больше был Достоевский — людей своего века или всечеловеков? Но Аксаков, как это делают и сейчас многие ученые на Западе, разрывает социальные и психологические проблемы творчества Достоевского (так в свое время Константин Аксаков своим тезисом, что Гоголь — это Гомер, хотел оторвать гуманистический пафос писателя от социальных проблем его творчества). Да, Достоевского интересовала «душа человеческая с ее святая святых» и «сатанинскими глубинами», но и это делалось с подлинной болью о человеке, в традициях русского критического реализма, а не только «при согревающем свете любви Христовой». И в Достоевском

¹ И. С. Аксаков. Соч., т. II. М., 1886, с. 489.

была «сила отрицания». Эта сила гарантировала его бессмертие в будущем, когда скороспелые кумиры, либеральствующие «учителя отрицания», забудутся. Но Иван Аксаков предрекал забвение всем отрицателям, а не только поверхностно-либерального толка, с которыми у Достоевского действительно ничего общего не было. По давней славянофильской привычке Иван Аксаков сознательно смешивал одно отрицание с другим, любую, самую эфемерную его форму выдавая за сущность того отрицания, которым была преисполнена вся честная русская литература. Абстрактное «всесветное единение во имя Христа» Аксаков называет «политическим убеждением» русского народа и «политическим убеждением» Достоевского. А то, в чем действительно скрыта подлинная политика, определяющая существо явлений, настроений и убеждений классов и сословий, социальное бытие людей,— это он объявлял «внешней» неравноправностью, окрашенной «тенденциозностью условий политической или социальной доктрины». Перед нами все та же софистика, которую мы встречали у славянофилов на каждом шагу в решении любого вопроса.

Независимо от того, как понимали свои личные отношения Аксаков и Достоевский, общий пафос писателя-гуманиста, защитника униженных и оскорбленных, величайшего из русских и мировых реалистов в корне противоречил славянофильской доктрине и его собственным, то есть самого Достоевского, «почвенническим» заблуждениям.

НЕНАШИ

Самой неблагоприятной и художественно бесплодной была нацеленность славянофилов против «ненаших», либеральных западников, революционеров и демократов. Эта неприязнь переходила в каждодневную литературную полемику, журнальную перепалку по поводу отдельных произведений реалистического направления в литературе, «натуральной школы».

В этих своих столкновениях славянофилы начисто проигрывали все идеологические битвы.

В нашумевшем выпаде под названием «К ненашим» (декабрь 1844 г.) Языков громил «сладкоречивого книжника» Грановского, «поклонника темных книг и слов» Герцена, «изменника» и «клеветника» Чаадаева. Эти выпады возмутили общественность. Из славянофилов никто открыто от выпада не отмежевался. Где-то в душе они поддерживали Языкова, лишь двое-трое из них не одобрили его «крайностей». А он бросал западникам одно обвинение за другим:

Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!

Особенно доносительным духом было проникнуто написанное в те же дни послание Языкова к Чаадаеву, где

этот «западник» назван «плешивым идиолом» и где выражалось сожаление: «Но ты еще не сокрушен». В посланиях к своим — к Константину и Ивану Аксаковым, Петру Киреевскому, Шевыреву, Хомякову, Каролине Павловой — тот же Языков прославлял крепкую спайку славянофилов в борьбе против «общего нашего недобротоха», «начальника шайки бесталанной», то есть, как полагают комментаторы, против Белинского.

В какой степени все славянофилы были единодушны в крайних формах этой борьбы и так ли уж могут быть односложными определения тех отношений, которые фактически складывались между славянофилами и инакомыслящими? Брань бранью, а дела обстояли сложнее. И это соображение снова возвращает нас к временам, когда складывалось само славянофильство, к истокам их идей, к внутренней противоречивости этих идей и, кстати заметим, к противоречивости тех западников, на которых они нападали. Сложность всех этих вопросов еще и еще раз является источником той «недоспоренности» о славянофилах, с указания на которую мы начали эту книгу.

Стихи Языкова одобрил Петр Киреевский, но не одобрил Иван Киреевский. Одобрил Хомяков, но не одобрил Константин Аксаков и все Аксаковы. Но что из этого следует? Почти ничего. Кого-то не устраивали чрезмерно резкий тон, отдельные выражения, не совпадали личные симпатии и оттенки отношений к лицам, на которых совершенно нападение, но в общем и целом все славянофилы так думали о своих противниках. У Константина Аксакова есть во многом похожие стихи на «К ненашим». Он «ненашими» готов был объявить и своих «гнилых союзников»... Чего уж можно было с него спрашивать, если он в послании к Н. М. Языкову в том же декабре 1844 года осуждал всех, кто говорил с гордостью о «ненашем» городе Петербурге, этом вертепе западнического разврата:

Тому руки я не подам,
Кто чтит тот град, народа бремя,
Всея России стыд и срам...

Он заранее называл тех «подлецами», кто стремился для преуспеянья попасть в Петербург. Он нападал на «Толпу эмпириков» (так называется у него стихотворение 1841 года), на людей, верящих голому факту, которым недоступен якобы свет мысли, все они «близорукая толпа», «им не понять ее деянье», их плоский рассудок способен порождать только «толпу теней», «бред», «призраки». Ведь в этих словах уже заключена программа будущих нападений на реализм «натуральной школы», якобы копающейся только в грязи действительности и чуждой идеалов, всего возвышенного. Тут славянофилы вполне смыкались с Булгариным. И позднее Константин Аксаков в стихах повторял давние доводы статей Ивана Киреевского. Это был их совместный выпад против теоретических основ рационалистов, западников, атеистов:

Отрекись своей гордыни,
В битву с небом не ходи,
Перед таинством святыни,
Перед богом в прах пади!

(«Разуму», 1857)

И у Ивана Аксакова, как мы уже отмечали, есть эта тема «ненашим», например, в «Голосе века» (1844). Выпады предупреждают языковскую модель:

— Ваше царство пасть готово,
Ваше благо — вред и ложь,
Ваш закон — пустое слово,
Ваша деятельность — тож!

А теперь вернемся к сложности взаимоотношений между теми, кто нападал, и теми, на кого нападали.

Тут опять встретишь или полемические антитезы при поразительном сходстве конструктивных элементов концепций (славянофилы и Чаадаев), или релятивное сосу-

ществование при обозначившейся уже разнице взглядов (славянофилы и Герцен), или упоминавшееся уже раздвоение единых исходных начал (славянофилы и Белинский).

Взаимоотношения славянофилов с Чаадаевым, уничтожения которого требовал Языков, носили крайне противоречивый и запутанный характер. Он был самым ярким их антагонистом-ультразападником, но он же и сближался с ними в ряде пунктов. Чаадаев был вечным поводом для салонных стычек, но именно поэтому славянофилы бывали у него дома на Басманной и он посещал их салоны.

А между тем «Философическое письмо» Чаадаева, опубликованное в «Телескопе» 1836 года (первое письмо из целого цикла писем), является удивительным примером того, как может быть выстроена вся система воззрений, которая будет тут же истолкована противниками «от обратного».

Некоторые исследователи полагают, что Иван Киреевский мог знать еще раньше это письмо и другие «философические письма», они циркулировали в московских кругах¹. Следы «чаадаевщины» усматриваются в некоторых скептических рассуждениях о современной России в статье Ивана Киреевского «Девятнадцатый век», напечатанной в «Европейце»². Но чрезмерно ни-

¹ Первое датировано 1829 годом. Пушкин, например, читал их в 1831 году и вернул их автору с обещанием потолковать о них со временем.

² См. об этом предположении в статье: П. Г. Виноградов. И. В. Киреевский и начало московского славянофильства.— «Вопросы философии и психологии», т. X. М., 1892; N. V. Riasanovskij, указ. соч., с. 29—31; P. Chrisoff, т. 2, с. 46—61. Э. Мюллер даже предполагает, что «если бы статья «Девятнадцатый век» Киреевского появилась после чаадаевского «Философического письма», то «Европеец» не был бы закрыт; там те же идеи, только выражены мягче, чем у Чаадаева». См.: E. Müller, указ. соч., с. 95, 121.

гилистическое отношение Чаадаева к прошлому России и пессимизм относительно ее будущего послужили не только поводом для построения славянофилами своей оптимистической «ретроспективной утопии», но и решающим толчком, чтобы незамедлительно сформулировать свою собственную программу¹. Через три года после выхода «Философического письма» появились рукописные записки Хомякова «О старом и новом» и Ивана Киреевского «В ответ А. С. Хомякову». Многие стереотипы их мыслей были уже заложены у их антагониста Чаадаева.

Истоком всех несчастий России Чаадаев считал из-

¹ Есть сведения, что славянофилы готовились тотчас же ответить Чаадаеву на страницах «Московского наблюдателя» статьей под названием «Несколько слов о «Философическом письме», напечатанном в 15 книжке «Телескопа». Но статья была вырезана цензурой из отпечатанных уже книжек журнала. (См. раздел о содержании «Московского наблюдателя» — автор Н. И. Мордовченко в кн. «Очерки по истории русской критики и журналистики». ЛГУ, 1950, с. 376.) Оттиск этой вырезанной статьи в 1938 году обнаружил сотрудник Пушкинского дома Я. И. Ясинский в поступившей тогда в Пушкинский дом библиотеке А. И. Тургенева. Статья без подписи, и Н. И. Мордовченко высказал предположение, что она принадлежит Хомякову. К сожалению, несмотря на все предпринятые попытки, нам не удалось обнаружить снова этот оттиск ни в библиотеке Пушкинского дома, ни в его рукописном фонде. Н. И. Мордовченко не указал, где хранится этот оттиск. Но что он сам его видел, свидетельствует чисто славянофильская цитата из статьи, которую он приводит, обосновывая авторство Хомякова: «Мы принимали от умирающей Греции святое наследие — символ искупления, и учились Слову, мы отстаивали его от нашествия Корана и не отдали во власть Папы, сохраняли непорочную голубицу, перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь Владимира». Н. И. Мордовченко делает вывод: «Пolemика с Чаадаевым велась с ярко выраженных славянофильских позиций, а в 1836 г. славянофильские взгляды Хомякова уже отчетливо определились».

Следует согласиться с А. Фризманом, который в дискуссии 1969 года высказал умозаключение: если бы чаадаевское «Письмо» разрешили обсудить, то славянофильство заявило бы о себе уже в 1836, а не в 1839 г. («Вопросы литературы», 1969, № 7, с. 143).

вращенное христианство. Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой всеми Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания¹. Трусливая церковь в России извратила самую идею братства: она ни разу не выступила в защиту крестьян, превратившихся в рабов. Мы никогда не шли рука об руку с другими народами; «мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода»; «общий закон человечества отменен по отношению к нам»².

Но Чаадаев не оказался до конца последовательным в критике церкви. Он сам был, как известно, мистиком и подавал руку славянофилам. Чаадаев отождествлял желаемую новую социальную систему с церковью. Это для него — как и для славянофилов — одно и то же. Под эгидой церкви должны воскреснуть Россия и все человечество. Правда, он как «западник» считал, что царство божье уже отчасти воплотилось в западных странах, где меньше произвола, пренебрежения личностью. Он внимательно приглядывался к теориям Сен-Симона, Ламенне и разделял некоторые иллюзии христианских утопистов. Сходилась Чаадаев со славянофилами и в других вопросах: в критике всего послепетровского уклада, в признании выпавших испытаний для русского народа произволением Промысла, неизбежностью и даже благом своего рода, чтобы потом русский народ-праведник воспрямил и научил добродетели все другие народы Запада.

Встречая в московских салонах отпор некоторым своим ультразападническим идеям, Чаадаев постепенно еще больше стал сближаться с славянофилами. Публикация «Письма» для него была во многом анахронизмом.

¹ П. Я. Чаадаев, Соч. и письма, т. 2, с. 118.

² Там же, с. 108, 109 и 117.

Уже в переписке с А. И. Тургеневым осенью 1835 года он отгораживался от «крутки Запада», «ибо сами-то мы не Запад»¹. Это уже стремление оторвать Россию от Запада. Сама отсталость, отрешенность России от общечеловеческих интересов теперь оказывались благом, подчеркивающим особый миссионерский жребий России. «Мы призваны, напротив, обучать Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого... Таков будет логический результат нашего долгого одиночества: все великое приходило из пустыни»².

Чаадаев, некогда вдохновивший Пушкина на стихи об «обломках самовластья», по крайней мере теперь не был сторонником революции. В «Философическом письме» он говорил о восстании декабристов как о «гражданском несчастии», которое «отбросило нас на полвека назад». Это писалось примерно через четыре года после поражения восстания. И тут опять Чаадаев сходился с Хомяковым, который еще до восстания говорил Рылееву, что бунт в войсках — нечестное дело, нарушение присяги, вещь, неприемлемая для России, не несущая свободы. Г. В. Плеханов отмечал, что в приемах мышления у Чаадаева было много общего с славянофилами³.

После опубликования «Письма» и официального объявления автора сумасшедшим Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего» (1837, опубл. в 1862). Здесь он снова вернулся к некоторым прогрессивным идеям «Письма» и даже углубил их, он выступил против «новой школы» (то есть будущих славянофилов), которая провозгласила: «больше не нужно Запада», «не нужен Петр I». Этот «новоиспеченный патриотизм», по словам Чаадаева, спешит объявить нас любимыми детьми Востока.

¹ П. Я. Чаадаев. Соч. и письма, т. 2, с. 198.

² Там же, с. 201.

³ Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII. М.—Л., ГИЗ, 1926, с. 3—23.

Чаадаев глубоко проанализировал причины выступления «новой школы». Он чутко уловил, что совершается «реакция» против просвещения, против идей Запада, против тех идей, которые сделали нас тем, что мы есть, и плодом которых является сама эта борьба мнений.

Чаадаев обрушивается на все эти страшные фантазии: «...в наши дни плохие писатели, неумелые антиквари (Погодин.— В. К.) и несколько неудавшихся поэтов (Хомяков, Языков.— В. К.) самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит...»¹

С проникновенной страстью Чаадаев раскрывал сущность своего патриотизма и отводил наветы самозванных узурпаторов этого великого чувства. Он провел открытый бой с ними из-за понимания общественного долга. «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы... Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами... я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свеге и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы»². Надо твердо верить в народ, давший Ломоносова и Пушкина.

Сложными были и отношения славянофилов с Т. Н. Грановским. Грановский долго не мог переступить через большую личную привязанность к Ивану Киреевскому, ему казалось, что при всей разнице в убеждениях он как «честный человек» может дружить со славяно-

¹ П. Я. Чаадаев. Соч. и письма, т. 2, с. 225.

² Там же, с. 226.

филами¹. Но вскоре пришлось разочароваться и начать отражать нападения «славян».

Грановский боролся со славянофилами с кафедры Московского университета. Он доказывал в лекциях историческую обреченность феодализма. Говорил, что родовой, общинный быт был свойствен не только славянам, но и кельтам и другим германским племенам². В «Письме из Москвы» («Отечественные записки», 1847, № 4) он полемизировал с воззрениями на искусство Хомякова и защищал статьи Белинского. Все больше и больше знаменитый профессор убеждался, что для славянофилов «вся мудрость человечества исчерпывается.. в писаниях отцов церкви». Он делал для себя вывод: надо быть последовательным в борьбе с ними. «Нет, господа,— говорил он друзьям,— я каюсь в своем глухом заблуждении. Белинский тысячу раз прав. Примирение с господами, действующими против нас такими средствами, глупо и нелепо...»³

Грановский писал Н. Х. Кетчеру 14 декабря 1843 года, что противники его ругают как профессора не за то, что он говорит, но за то, о чем умалчивает: «Я читаю историю Запада, а они говорят: зачем он не говорит о

¹ Какая-то деликатность некоторое время сдерживала и Константина Аксакова от открытого разрыва. Так он писал брату, Ивану Аксакову, в неопубликованном письме от 1—2 декабря 1846 года: «Грановский прислал мне билет на свои публичные лекции с запиской, в которой выражается сомнение, пойду ли я на его лекции? Я велел отвечать, что странно мне такое сомнение; впрочем, быть на первой лекции не мог. Надеюсь быть на второй. Москва полна всяких сплетен, говорят, что против Грановского — партия. Тем более должен я сходить к нему на лекции: чтобы доказать с своей стороны, по крайней мере, вздор подобных толков» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 8).

² См.: Л. А. Ушакова. Грановский в борьбе с славянофилами.— Ученые записки Томского университета, 1959, № 31, с. 191—197.

³ И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950, с. 206.

России!»¹ «Остервенение» росло, студенты «шикали» на лекциях близких славянофильству Шевырева и Бодянского и овациями приветствовали Грановского.

С. П. Шевырев читал лекции по древней русской литературе. Они были задуманы как своеобразный противовес влиянию лекций Грановского и как наиболее подходящий способ заинтересовать молодых слушателей близкими славянофильству идеями.

В курсе Шевырева (вышедшем в 1846 году отдельной книгой) древняя русская литература противопоставлялась современной литературе с ее западными влияниями². Иван Киреевский в неопубликованном письме Шевыреву от 25 марта 1846 года нетерпеливо писал: «Когда выходят твои лекции? Я ожидаю, что они затрагивают много важных вопросов, поделнее мурмоличных велегласий». Тут характерен попутно брошенный камешек в сторону Константина Аксакова и Хомякова, которые своими переодеваниями в русские старые одежды только вызывали смех и компрометировали самую про-

¹ См.: «Т. Н. Грановский и его переписка», т. 1, изд. 2-е. М., 1897. О напряженной борьбе в момент защиты Грановским своей диссертации рассказывает Герцен в дневнике. См.: А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 2, с. 406.

² До чего доходил накал страстей и насколько отчетливо современники запомнили характер лекций Шевырева по отношению к Грановскому и вообще неприязнь его к любимому профессору и даже травле его в Московском университете в последние годы жизни, свидетельствует нижеприводимое неопубликованное письмо какого-то неизвестного лица, по-видимому, студента с грубовато ультимативным требованием следующего характера: «Неужели правда, что вы, господин Шевырев, намерены опозорить Грановского надгробным словом? Это будет величайшая дерзость с вашей стороны; это будет святотатство! Желаем от души, чтобы болезнь, пожар, смерть близких вам людей или какое-нибудь подобное благополучие остановило вас от такого преступления. В противном случае вас постигнет событие, еще менее ожидаемое вами: в один из ближайших вечеров в ваш дом влетит несколько десятков камней...» Такова была обещанная серенада нелюбимому профессору, одобренная дальше словами «ханжа» и «подлец» (ГПБ, ф. 850, № 678).

паганду славянофильства. А дальше Иван Киреевский продолжал: «Я с нетерпением жду того времени, когда твой взгляд на прошедшую литературу нашу взойдет в кровь текущей словесности!»¹ Эту же мысль Иван Киреевский выразил и в своем печатном отзыве о курсе Шевырева.

Третьим из «ненаших» был А. И. Герцен. Оказавшись в Москве сразу же после ссылки в 1839 году, он некоторое время испытывал симпатии к славянофилам. Белинский был уже в Петербурге, Огарев за границей. Герцен приглядывался к новым знакомым. С Аксаковыми он жил рядом на Сивцевом Вражке². Сам великий спорщик, Герцен нещадно сражался с Хомяковым. Сквозь личные привязанности к тому же Ивану Киреевскому и другим славянофилам у Герцена можно увидеть и нараставшую неприязнь к ним. В 1844 году он уже записал в дневнике: «Более и более расхожусь с славянами...»³ Он осторожно уклоняется от предложений Ивана Киреевского принять участие в «Москвитянине». Статьи Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», печатавшиеся в «Отечественных записках», подводили к всесторонней критике всякого «буддизма в науке». Герцен увидел закоснелый тип мышления и у славянофилов: «Славянофилы, наконец, более и более являются узенькими людьми раскола»⁴. И, наконец, пасквильные сатирические стихи Языкова

¹ ГПБ, ф. 850, ед. хр. 290.

² В архиве нам попался список стихотворения К. С. Аксакова «Петру» (1845). Рукой неустановленного лица на нем сделана пометка: «На Сивцевом Вражке в доме Герцена» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 80). Что это означает? Написано ли это стихотворение в доме Герцена как продолжение спора о значении Петра I, (в дневнике за 1845 год Герцен не раз касается этой темы в связи с славянофилами)? Или копия снята в доме Герцена? Надпись не поддается исчерпывающему комментированию.

³ А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. II, с. 390.

⁴ Там же, с. 403.

против западников привели к окончательному разрыву. Ему способствовала и непримиримость Белинского, который нетерпимо относился к временным компромиссам Герцена и Грановского со славянофилами. В недошедшем до нас письме к Герцену критик писал: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу... Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видаться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания»¹.

Отношения со славянофилами у Герцена осложнились и снова смягчались в связи с его собственными построениями теории русского общинного утопического социализма. Ему субъективно казалось, что славянофилы — его предшественники, раз они первые обратили внимание на общину как характернейшую черту русской народной жизни. Академик Н. С. Державин в названной статье подробно осветил, в чем сходилась и в чем расходился Герцен со славянофилами в этих вопросах². Но в «Письмах к противнику» (1864), то есть Ю. Ф. Самарину, по этому поводу и в личной переписке с ним Герцен выступал (при всех оговорках о «единой цели») как антагонист славянофильства, компромиссного, соглашательского, раболопно пасовавшего перед властью и попами³. Иван Аксаков пытался пристроить в «Колоколе» некоторые сочинения своего брата, но сотрудничество не состоялось⁴.

Кто такой Герцен, славянофилам и их кругу было всегда очень ясно. А. О. Смирнова-Россет в 60-х годах писала Ивану Аксакову уже как своему единомышлен-

¹ А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, с. 164. Письмо дошло в цитировании Герцена.

² Н. Державин. Герцен и славянофилы.— «Историк-марксист», 1939, № 1.

³ А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII, с. 274—296.

⁴ См.: «Литературное наследство», т. 41—42. М., 1941, с. 581.

нику о необходимости третирования Герцена. Последнего она встречала в Англии и радовалась, что новая аксаковская газета «День» — хорошее «противоядие» против «Современника» и Герцена: «Не «Колокол», пустой болтун, был страшен и его предисловия, но статьи вроде «Owen» (Оуэн.— В. К.). В них-то высказывалось отсутствие всяких нравственных начал, его наглость, дерзость, его бестиальный материализм»¹.

Славянофилы-утописты не принимали социалистических утопий. На каждом новом повороте истории быстро обозначалась несовместимость их концепций с концепциями западников, и бой закипал с новой силой.

Самым главным противником славянофилов был В. Г. Белинский. Они платили ему ненавистью и даже критиковали власти за то, что те якобы потакали «Отечественным запискам» и «Современнику» и чинили всякие прижимки «Москвитянину», на страницах которого славянофилы полемизировали с Белинским и «натуральной школой». На самом же деле главные удары цензура наносила по прогрессивным журналам Белинского и лишь временами одергивала славянофилов или просто сдерживала их непозволительно грубые полемические выходки².

¹ ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. хр. 207, л. 72 и об. Имеется в виду одна из глав «Былого и дум» Герцена, в которой рассказывается о системе Роберта Оуэна. «Бестиальный» — здесь: грубый, животный материализм.

² Так, например, мы узнаем из одного цензурного дела, что в январе 1848 года была запрещена статья Константина Аксакова «О современном литературном споре» (для «Москвитянина»), в которой он пытался полемизировать с «Современником» о роли Москвы и Петербурга. Текст статьи Аксакова был опубликован позднее в газете «Русь», 1883, № 7. В цензурном запрете сказано: «...по слишком резким выражениям о предметах великой важности пропущена быть не может» (ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 1955, а также ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 9). Ясно, что цензура опекала вовсе не Белинского, а «предметы, важные» для нее. Славянофилы напрасно старались набросить тень на политическую репутацию своих противников.

Белинский и славянофилы — это в значительной мере тот случай, когда из одних идей вырастают диаметрально противоположные результаты, когда дружба превращается во вражду, когда противники сражаются почти одним и тем же оружием.

В личных отношениях у Белинского, например, с Константином Аксаковым была первоначально образцовая дружба. Благоволил критику всегда С. Т. Аксаков. Эта дружба достаточно подробно описана в известной монографии А. Н. Пыпина о Белинском (1908) и в упоминавшемся очерке С. А. Венгерова о Константине Аксакове. Добавим несколько новых архивных мелочей.

Во время своей первой поездки за границу в 1838 году Константин Аксаков посетил Петербург. Это было за год с небольшим до того, как туда переехал Белинский, чтобы сотрудничать в «Отечественных записках» А. А. Краевского. Пока Белинский еще сотрудничал в «Московском наблюдателе», в котором Константин Аксаков выступал (так же, как и перед тем в «Телескопе» Надеждина) под псевдонимом К. Еврипидина со стихотворными пародиями на Бенедиктова. А с дороги он писал отцу 12 июня: «У Надеждина встретил Краевского и Панаева». Надеждин только что вернулся из ссылки после закрытия «Телескопа» за печатание в нем «Философического письма» Чаадаева, а Иван Иванович Панаев обсуждал с Краевским вопрос о приобретении у П. П. Свиньина с января 1839 года права на издание «Отечественных записок». В составлении программы журнала принимал участие и Надеждин¹. Можно сказать, Аксаков застал их за созданием сильнейшего органа будущего западнического направления. Аксаков зорко подметил качества будущих соратников Белинского по «Отечественным запискам». «С Краевским завязался

¹ См. мою книгу: «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века». Изд-во МГУ, 1958, с. 18, 65 и др.

у нас спор: он довольно ограниченный человек. Панаев, с которым, возвращаясь домой, мы шли вместе, прекрасный малый, с душою теплою: он звал меня к себе (также и Краевский), с участием расспрашивал о «Наблюдателе», любит Белинского, что ему и передайте, милый мой отесенька»¹. Константин Аксаков и сам желает всех благ Белинскому. В письме из Риги 20 июня он снова вернулся к петербургским впечатлениям, к разговорам с Панаевым: «Воейков не может жить без Белинского и в одно время и любит и ненавидит его. «Ведь он очень умный малый, да так иногда дурит, о, он голова!» — это он беспрестанно повторяет!», то есть повторяет эти слова о Белинском желчный А. Ф. Воейков, издатель «Русского инвалида», автор известной тогда в литературных кругах сатиры-шаржа «Дом сумасшедших». Белинский всегда отзывался о Воейкове саркастически, как об одном из «гениев смирдинского периода» русской литературы, то есть как о беспринципном писателе, графомане².

А далее Аксаков продолжал о себе: «В великое смущение привели его (то есть Воейкова.— В. К.) стихи мои под именем Еврипидина. «Что ж это они, никак шутят этими стихами, а ведь это поэт, да какой поэт». Панаеву понравились тоже эти стихи, но никто не знал, что Еврипидин — я»³. То есть мистификация вполне удалась, пародии на романтиков, графоманов приняты за чистую монету: вот вам и вкус и пронизательность петербургской критики! А о Панаеве еще добавлено: «Он чрезвычайно любит Белинского и хочет писать к нему».

¹ ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, № 38.

² Отзыв Воейкова о Белинском еще подогревался тем, что критик сотрудничал в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», которые Воейков сдал в аренду Краевскому с 1837 года; критик уже тогда начинал влиять на их направление.

³ ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, № 38.

Через год с небольшим Панаев и привез Белинского в своей карете в Петербург. Все эти сведения овеяны со стороны Константина Аксакова искренней любовью к великому критику. Но удержаться этим отношениям не было суждено. Через год сложилось и славянофильство.

В своих мемуарах Константин Аксаков припоминал, что еще в кружке Станкевича, то есть в 1835—1837 годах, он уже во многом расходился с Белинским, а потом и с ненавистью относился к его «буйному отрицанию авторитета»¹. А в 1840 году Аксаков уже писал родным о нетерпимом для него «вранье» Белинского и его статьях, о вредном влиянии на общество его кружка: «...предвижу, что мы с Белинским так схватимся литературно, как еще никто с ним не схватывался: надо Белинского определить и поставить на его место, какое он занимает. Или мы с Белинским навсегда разделимся, или он уступит мне, а я уж ему не уступлю»². «Схватку» в 1842 году по поводу «Мертвых душ» проиграл Константин Аксаков. Всякие отношения после этого с Белинским прекратились. Во время посещения Белинским Москвы, где его многие приветливо встречали, Аксаков не появлялся нарочно в обществе, ни у Корша, ни у Чаадаева, ни у Ефремова. Так настроена была и вся семья Аксаковых, за исключением С. Т. Аксакова, который не мог погасить в себе прежних симпатий к критику, не мог не видеть, как прав он во многих суждениях об искусстве. В отрицательной оценке «Выбранных мест...» Гоголя они даже совпадали.

Резко отрицательно относились к Белинскому Хомяков и Языков, о которых критик весьма ядовито, как о

¹ К. С. Аксаков. Воспоминание студентства. СПб., 1911, с. 18.

² «Литературное наследство», т. 56, с. 145.

трубадурах славянофильства, отозвался в обзоре русской литературы за 1844 год. И прежде они к нему симпатии не питали.

Когда в 1846 году в Калуге, в доме А. О. Смирновой-Россет, Белинский встретился с Иваном Аксаковым, последний сначала не мог побороть в себе неприязни к антагонисту своего брата Константина. Из дома ему советовали игнорировать Белинского, но любопытство толкало юношу заговорить с критиком, и в последующих письмах он начинает доказывать, что следует «удостоить Белинского разговором, его, человека умного и талантливого», жизнь которого «прошла не в пошлых интересах». «Убеждения свои менял он часто, но всегда действовал по увлечению и убеждению»¹. Но дальше сближение не пошло, и Белинский все более делался главным врагом славянофилов. И он о них всегда писал резко отрицательно: «А церемониться с славянофилами нечего»².

В теоретическом же плане дело обстояло следующим образом.

В «Литературных мечтаниях» (1834) Белинский еще рассуждал так, как потом будут рассуждать и славянофилы (и тут можно даже учитывать влияние на Белинского ранних статей Ивана Киреевского): народы — суть личности человечества, самобытность состоит в «образе мыслей и взгляде на предметы, в религии, языке и более всего в обычаях». «Чем младенченственнее народ, тем резче и цветнее его обычаи...»³

После реформы Петра Великого «масса народа упорно осталась тем, что и была, но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука тения». «Итак, *народ*, или лучше сказать, масса народа и *общество* пошли у нас врозь»⁴ (курсив Белинского.— В. К.). Начавшая-

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. I, с. 338.

² В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 457.

³ Там же, т. I, с. 36.

⁴ Там же, т. I, с. 40.

ся тогда же новейшая русская литература была не туземным, а «пересаженным» растением и выражала духовные потребности общества, а не народа (характерное деление и для Константина Аксакова в его «Опыте синонимов», 1857).

Но уже в этих высказываниях Белинского есть много такого, что отличало его от славянофилов. Он считал реформы Петра I великим благом. Он, как и Пушкин, констатировал сложившееся при этом объективное положение вещей. Похвал допетровской Руси у него нет, для него это эпоха отсталости. Критик считал, что «физиономия народа» еще не вполне выяснилась, ее должно выявить просвещение. В последнее понятие Белинский ничего славянофильского не вкладывал: именно не особое, доморощенное, а в общеевропейском смысле просвещение и должно в этом деле помочь.

Тезис «у нас нет литературы» у Белинского лишь временно означал сходное с тем, что он означал и у будущего славянофила Ивана Киреевского, но последний с самого начала утверждал: нет литературы и не будет, пока продлится разрыв между обществом и народом, возникший из-за реформ Петра I. Какой собственно должна быть «литература народа», славянофилы и позднее толком не знали.

Белинский же скоро разобрался в подлинном механизме исторических связей между обществом и народом. Именно общество в своей просвещенной, мыслящей части, создающее литературу, и является исполнителем лучших чаяний народа. И в этом смысле оказывалось, что «у нас есть литература». Ее народность следовало толковать не абстрактно, а именно так, как подсказывал реальный ход вещей. Белинский всегда мог конкретно сказать по существу о содержании понятия народности и усмотреть ее и в «Евгении Онегине», и в «Мертвых душах». В реалистической литературе и выражался дух народа. Белинский видел неоднородность состава обще-

ства и поэтому не рисовал его одной краской, как славянофилы. И в народе он видел разные слои и тенденции, не только вековые чаяния лучшей доли, но и мрак и невежество, суеверие и добровольное холопство. Его аналитический ход мысли вел вперед в познании диалектики связей между «обществом» и «народом». Славянофилы же закоснели на метафизическом, чисто умозрительном разделении их китайской стеной. Отсюда у них парадокс на парадоксе в теории и отрицательное отношение к реализму в литературе, который они принимали за очернительство, антипатриотическое отношение ко всему своему, кровному, русскому.

На самой зрелой стадии развития пафос выступлений Белинского в основном был направлен против славянофилов и предлагаемых ими опособов выйти из тупика. Критик не мыслил альтернативно: или Византия или Рим, или Россия (исконное) или Европа (прививное). Он искал исторические связи между различными тенденциями в мировой истории и реальные формы их проявления в России. Хотя славянофилы много хлопотали о народе, на деле они его в расчет не принимали. А Белинский-демократ начинал принимать его в расчет, и он не только верил в великое «предназначение» России, но и готовил умы к борьбе за ее будущее.

Есть еще своего рода вторичная, навязываемая самими исследователями сложность понимания проблемы взаимоотношения Белинского и славянофилов и соотношения их идей. Она навязывается в результате неверного толкования отдельных высказываний Белинского о славянофилах, произвольного, неточного цитирования, абсолютизации тех полемических «издержек», которые он якобы допускал в борьбе с славянофилами. Эти «издержки» приобретают чуть ли не основной методологический смысл для исследователей славянофилов, всемерно старающихся представить их отмытыми от этих «издержек».

Считаем долгом остановиться на этом, так как эти искусственные усложнения проблемы наблюдаются и в наше время, даже в дискуссии 1969 года, постоянно встречаются в западных работах о славянофилах и имеют прямое отношение к толкованию их творчества и заслуг.

Обычно старательно обыгрываются «оговорки» Белинского, например, в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». В споре с В. Майковым, считавшим, что «национальность» — это узкая форма, сковывающая поэтов и мешающая им быть оракулами «общечеловеческих» истин, Белинский бросил фразу: «В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истинно-то говорят, как такое-то издание такой-то логики... Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому...»¹

Кажется, в этой фразе все ясно, здесь делается только чисто полемическое допущение: «готов перейти на сторону славянофилов». Но не перешел же. И притом у Белинского четко сказано, что и славянофилы тоже «ошибаются». Между тем, некоторые исследователи находят у Белинского какие-то колебания в сторону славянофилов, готовность идти на компромисс².

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 29.

² Аналогичная натяжка допускается и с признанием И. В. Киреевского в письме к А. С. Хомякову в 1844 году о том, что он неполный, не заклятый славянофил. Славянофильский образ мыслей он «разделяет только отчасти, а другую часть считает дальше от себя, чем самые эксцентрические мнения Грановского» (курсив автора.— В. К.) (И. В. Киреевский, Полн. собр. соч., т. II, М., 1911, с. 233). Ясно, что и здесь лишь только полемическое допущение. К этому времени Киреевский был уже «полным» славянофилом, стоявшим рядом с Хомяковым. Нельзя оттенки мысли принимать за ее основу.

Или заостряется следующая фраза из воспоминаний К. Д. Кавелина: «В Москве, в одном разговоре с Грановским, при котором я присутствовал, Белинский даже выражал славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа»¹. Тут, конечно, самое ценное — сакраментальное выражение «славянофильская мысль». Но что же тут собственно славянофильского? Кавелин ведь ничего об этом не говорит. Белинский выражал надежды на Россию, мы об этом знаем из его статей и писем. Но в постановке этого вопроса и его решении у Белинского не было ничего общего с славянофилами. Даже если бы Белинский, как многие западники после него, и надеялся, что Россия решит социальный вопрос лучше Европы при помощи общины (а у Белинского об общине нет ни слова), то и это еще не признак славянофильства. Славянофильское содержание мысли Белинского никак не раскрыто Кавелиным, оно только померещилось Кавелину. Здесь выражение «славянофильская мысль» не больше как простая проходная фраза, обозначающая, что в России будет «лучше», чем в Европе. Воспоминания Кавелина никак не могут служить основой для каких-либо определенных выводов о «славянофильстве» Белинского.

Некоторые участники дискуссии 1969 года прибегали к беззастенчивому «монтажу» вырванных из контекста цитат Белинского, доказывая его солидарность со славянофилами. Например, бралась из того же обзора литературы за 1846 год фраза: «славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности»². Создается впечатление, что только славянофилы и касаются этих важ-

¹ «Белинский в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1948, с. 91.

² В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 17.

нейших вопросов и что именно они поставили их на очередь дня. А на поверку оказывается, что исследователь опустил следующую фразу у Белинского: «Как оно их касается и как оно к ним относится — это другое дело»¹. Белинский не соглашается с тем, как решают славянофилы жгучие вопросы современности. Это видно и из другой, также опущенной фразы: «Дело в том, что положительная сторона их доктрины заключается в каких-то туманных мистических предчувствиях победы Востока над Западом, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности, всеми вместе и каждым порознь»².

Один из участников дискуссии цитирует кусочек фразы: «...славянофилы правы во многих отношениях» — и опускает ее продолжение: «...но тем не менее их роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время»³. Говоря об уважении к «причинам», вызвавшим славянофильство, Белинский еще и еще раз обращает внимание на главное: «...но, рассмотревши его ближе, нельзя не увидеть, что существование и важность этой литературной котерии чисто отрицательные, что она вызвана и живет не для себя, а для оправдания и утверждения именно той идеи, на борьбу с которою обрекла себя»⁴. Лишь до «известной степени» славянофилы были правы, согласно Белинскому, в кригике русского «европеизма». Но в целом они не понимали ни Запада, ни России, если указывали на загнивание Запада и на «смирение как на выражение русской национальности»⁵.

Увлекаются исследователи, делая из Белинского славянофила путем выхватывания из контекста его статей, полужраз, отдельных кусочков. Говорит, например, Бе-

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 17.

² Там же.

³ Там же, с. 20.

⁴ Там же, с. 17.

⁵ Там же, с. 17 и 23.

линский: «Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль...»¹ А нам выдают это за славянофильское бахвальство. Скажет Белинский: «У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения»², а нам это преподносят как славянофильское отгораживание от западного. А у Белинского эта фраза имеет совсем другой смысл: «Европейских элементов так много вошло в русскую жизнь, в русские нравы, что нам вовсе не нужно беспрестанно обращаться к Европе, чтобы сознавать наши потребности: и на основании того, что уже усвоено нами от Европы, мы достаточно можем судить о том, что нам нужно»³. То есть тут говорится о том, что нужно осмыслить все вопросы нашей жизни в соответствии с опытом России, уже породившейся с Европой. А нас уверяют: нечего эти вопросы принимать как наши собственные. Белинский против шаблонов, а наши монтажеры — против существа вопросов. Делается передвижечка в сторону славянофильской исключительности.

Раздраженные высказывания некоторых литературоведов о том, что «канонические стереотипы» суждений демократов о славянофилах «мешают» изучать славянофилов объективно, не имеют под собой никаких оснований. Со времен К. Д. Кавелина повелось считать, что противники славянофильства в жару полемики «делали» за них выводы из их тезисов, приписывали им то, чего они не говорили, осыпали их насмешками — и «все это пошло ходить по белу свету под фирмою славянофильства»⁴. Ю. З. Яковский готов назвать каждодневный огонь критики Белинского, Герцена, Чернышевского про-

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 21.

² Там же, с. 32.

³ Там же, с. 19—20.

⁴ См.: К. Д. Кавелин. Полн. собр. соч., т. III. СПб., 1899, с. 114б.

тив славянофилов причиной, помешавшей «отцам» славянофильства «снискать должную популярность в широких слоях общества»¹. Впрочем, и сам Ю. З. Янковский в дальнейшем изложении то и дело опирается на критиков-демократов, и это лучшие, наиболее методологически четкие страницы его в общем содержательной и полезной книги.

Современный исследователь, который не уклоняется от «окончательных», классовых определений сущности славянофильства, всегда придет к Белинскому и признает его суждения о них и о проблемах, которые обсуждались тогда в полемике, единственно последовательными и образцово правильными. Хотя не исключено, что и Белинский мог в деталях ошибаться, например, безоглядно объединять «Москвитянин» со славянофилами.

¹ Ю. З. Янковский. Из истории общественно-литературной мысли 40—50-х годов XIX столетия. Изд-во Киевского государственного педагогического института им. А. М. Горького, 1972, с. 10.

КРАМОЛЬНИКИ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ

Остановимся на вечно возникающем и не всегда четко решаемом в дискуссиях вопросе: были ли славянофилы действительно страдальцами за свои идеи, какой они внесли вклад в освободительную борьбу? Нередко перечень фактов об их преследованиях со стороны властей заслоняет оценку причин и результатов преследований, так сказать, сущность самих «преступлений» славянофилов против властей.

Тот, кто требовал при Николае I хоть каких-либо перемен, конечно, уже рисковал многим. Выпады славянофилов против существующего порядка вещей в публичных выступлениях производили временами сильное впечатление. При всей абстрактности своих положительных идеалов славянофилы, как мы в этом убедились, умели хлестко разить «наличное бытие», то или иное проявление бюрократии.

Можно себе представить, как должны были власти смотреть на этих беспокойных московских оппозиционеров, которые умели находить свои особенные укоризненные слова, отзывавшиеся неказенным патриотизмом, тревогой за Россию. Легко можно было попасть в крепость

за такую, например, фразу: «Петербург есть *заграничная столица России*»¹.

Как ни темно толковали славянофилы свои богословские догмы, нет-нет да вырывавшиеся у них намеки на необходимость для спасения России возрождения ослабившегося престижа церкви и патриаршества таили в себе страшную крамолу, которую верхи немедленно чувствовали. Это были призывы к возвышению церкви над светской властью, над домом Романовых.

В конце концов крамолы оборачивалось и утверждение славянофилов о том, что в России не было завоевания. Елейная сказка о мирном призвании варягов, вошедшая во все официальные буквари для народного образования, оставлялась в стороне. Суть дела оказывалась совсем в другом. Завоевания не было, а откуда же тогда появились рабы на Руси? Почему свои же русские, свои же православные крестьяне оказались в закрепощении у своих же русских, православных бояр, помещиков? Значит, надо обратить мысль к внутренним неурядицам русской истории, к преступлениям властей. Тут полиции было о чем беспокоиться. Славянофилы потому и пребывали в подозрении на протяжении трех царствований.

«Я считаю Николая Павловича,—откровенничал Иван Аксаков,—просто душегубцем: никто не сделал России такого зла, как он (не ведая, что творит). Он сгубил, заморозил наше поколение, лучшие года жизни ушли безвозвратно, проведены в самой удушливой атмосфере. Его свинцовый гнет вынудил те, вполне искренние и у меня самого ужасные вопли, проклиная-

¹ К. С. Аксаков. Значение столицы,—статья, написанная им в 1856 г., но напечатанная лишь в 1882 г. в газете «Русь» (2 января). Публикуя статью полностью, редакция «Руси» сделала примечание: «Была ли она точно представлена (царю.—В. К.), удостоверить не можем» (№ 11).

щие и молодость и ненужную силу...»¹ Аксаков имеет в виду свои стихи «Когда же власть, скажи, твоя пройдет, // О, молодость, о, тягостное бремя!», в которых он оплакивает свое поколение, лишенное возможности добиться чего-либо лучшего для страны и разьедаемое изнутри немощью и безволием.

У славянофилов были свои авторитеты и симпатии. Они противопоставляли всей официальной «пророка» Гоголя. В «Московском сборнике» 1852 года появилась заметка Ивана Аксакова «Несколько слов о Гоголе», в которой проводилась герценовская мысль, высказанная знаменитым эмигрантом за два года до того в книге «О развитии революционных идей в России» о том, что Россия не умеет ценить своих талантливых людей, что история русской литературы, если на нее посмотреть с точки зрения судеб писателей,— оплошные потери, список каторги и ссылки. Слово о Гоголе выражало во многом общие мысли русских честных людей, скорбевших о великой потере.

Не чуждались славянофилы и опасных контактов с Герценом². В лондонских сборниках «Русская потаенная литература XIX столетия» были напечатаны запрещенные произведения Ивана Аксакова: «Жизнь чиновника» и сцены «Присутственный день уголовной палаты». В очередном лондонском сборнике потаенной литературы появилось и стихотворение Хомякова «России» (1854), которое было тем самым одобрено в своей критической части революционной оппозицией, хотя сам автор его не присылал Герцену. Оно ходило в списках и вызвало большое возбуждение в стране. Недаром на Хомякова ополчились придворные и иные «патриоты». А Вера

¹ ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, № 53. Оpubл. с кулюрами в «Русском обозрении», 1897, № 2, с. 594.

² См.: «Литературное наследство», т. 41—42, с. 581.

Аксакова записала в дневнике: «Справедливы стихи Хомякова; теперь они еще более оправдались»¹.

Диссертацию Константина Аксакова о Ломоносове сначала запретили защищать, потребовали цензурных изъятий относительно некоторых характеристик Петра Великого (в целом благоприятных). Остро переживали славянофилы эти придирки. То, о чем говорилось с глазу на глаз, записала Елизавета Попова: «На какое рабское, скотское молчание осуждаемся мы жестоким тиранством! Что далсе, то хуже»². Две трети текста запретили к публикации и защите из диссертации Самарина о Стефане Яворском, полагая крамольными его рассуждения о Яворском как богослове, хотя в них ничего опасного не было. Жажду элементарных послаблений выразил Константин Аксаков в стихотворении «Свободное слово» (1854), которое он читал в своем кругу, и на чтении, между прочим, присутствовал «западник» И. С. Тургенев. Это стихотворение могло увидеть свет в печати только в 1880 году в газете «Русь».

У Константина Аксакова состоялась, по рекомендации князя Вяземского, встреча с министром народного просвещения А. С. Норовым. Министр сказал, что стихи Хомякова «России» могут иметь вредное влияние, а стихотворение «Бродяга» Ивана Аксакова «вредно»: автор «выставляет в таком привлекательном виде беспаспортное состояние»³. После такой беседы с Норовым Константин Аксаков сказал в близком кругу: «...это министр *народного помрачения*»⁴.

Какая уж тут литература и свобода творчества, если запрещено печатать даже акты и документы, касающиеся Смутного времени на Руси, когда народ спасал отечество от интервенции. Эту эпоху очень любили изобраа-

¹ «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой». СПб., 1913, с. 4.

² «Дневник Елисаветы Ивановны Поповой», с. 11.

³ ИРЛИ, ф. 3, оп. 7, № 26.

⁴ «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой», с. 131.

жать славянофилы (Хомяков, Константин Аксаков, Иван Киреевский). Пьесу Константина Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» поэтому и запретили после первого представления.

Много натерпелись славянофилы при Николае I. Бенкендорф собирал улики против А. И. Кошелева. Был запрещен «Европеец» Ивана Киреевского (1832). Особенно «важным» оказалось перехваченное письмо Ивана Киреевского к Кошелеву, в котором говорилось о необходимости перемен в русском умственном и нравственном быте. Тайная полиция вообразила или с умыслом представила дело так, что тут речь шла о революции политической. «А как Николаю Павловичу постоянно чудилась революция, то этот донос и крепко засел ему в голову»¹. Московского генерал-губернатора А. А. Закревского современники считали воплощением николаевского режима. Славянофилов он терпеть не мог и называл их то «красными», то «коммунистами». Он повелел неусыпно следить за домами Кошелева и Хомякова. Надзиратели каждый день подавали ему записки о лицах, которые посещали эти дома. Конечно, у страха глаза всегда велики. «По разным слухам и секретным негласным дознаниям,— сообщалось в одном из обширных сводных документов полиции конца 50-х годов,— можно предположить, что так называемые славянофилы составляют у нас тайное политическое общество. Славянофилы появились после Польской революции в виде литературного общества любителей русской старины». В число заговорщиков попало много лиц: кроме собственно славянофилов еще и артист М. С. Щепкин, Н. М. Сатин, Н. Ф. Павлов и др. Вменялось им в вину и общение с Герценом².

¹ «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 30.

² ИРЛИ, ф. 1, оп. 10, № 9, частично опублик. в «Русском архиве», 1885, вып. 7, с. 447—452.

В 1849 году власти запретили славянофилам носить бороды и русскую старинную одежду. Снят был запрет только после смерти Николая I в 1855 году. В 1849 году Ивана Аксакова арестовывали, его допрашивали как автора «Бродяги». Перлюстрировались некоторые его письма к родным. В том же 1849 году был арестован Самарин. В 1852 году были гонения на «Московский сборник». Затяжно было целое дело. В объемистой архивной папке сохранились цензорские «анализы» статей, вошедших в первый выпуск «Московского сборника», и статей второго выпуска, который света не увидел.

В статье Ивана Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», опубликованной в «Московском сборнике» за 1852 год, цензурой оспаривалась чисто славянофильская критика реформ Петра I. Особое на себя внимание обратили тезисы об «исконных» русских началах просвещения, которые со временем оказались забытыми и которые сохранились только в низших слоях народа. Славянофилы боролись за то, чтобы «начала жизни», «цельность» бытия были сохранены святой православной церковью и чтобы при помощи церкви этой цельностью прониклись все сословия. Цензор понял, что, при всей своей благонамеренности, сочинитель «унижает бессмертные заслуги великого преобразователя России» и тех славных его преемников, которые «не щадили трудов и издержек для усвоения нам образованности Запада», для самой «цельности» бытия. Цензор, конечно, не понял мудреного философского смысла «цельности» и истолковал ее в смысле государственной целостности.

В статье Константина Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» внимание цензора привлекли рассуждения о том, что у нас не было родового быта, а был общинный быт: другими

словами, «преобладало начало демократическое»¹. Пример — Новгородское вече. Этот быт сохранился и поныне в сходках крестьян. Цензор призывал в донесении ограждать читателей от столь пагубных мыслей: община — плод влияния Ганзы, торговли, а духу русскому было чуждо демократическое начало.

Во втором выпуске сборника в не увидевшей света статье К. Аксакова о богатырях киевских слишком подчеркивалась мысль о равенстве всех сидевших на пирах за столом у князя Владимира. Сомнительным показалось сравнение русского хоровода с русской общиной. Эти слова об «общине» в другой статье также «могут наводить на сходство сих начал, предполагаемых в русской древней жизни, с коммунизмом, хотя бы, вероятно, и не разумел сего сочинитель»².

И вот в 1854 году началась война с турками. Через год пал Севастополь. Империя пошатнулась, Николай I, как ходили слухи, отравился. К этому времени относится чрезвычайно содержательный дневник Веры Аксаковой. Он несомненно передает брожение умов не только среди славянофилов, но и в различных других слоях русского общества. Почти день за днем, событие за событием записывала Вера Аксакова в дневник. Она получала известия из Крыма, следила за газетами, собирала слухи в толпе, у Хотькова монастыря, у Троицы, куда ездила с матерью на богомолье. Приносили вести братья, знакомые. В доверительных беседах говорилось все. И вот записи: «...душегубство есть единственная цель нашего правительства. Всякая мысль преследуется как преступление»³, «но народ не виноват, что правительство против его желания так поступает, или, может быть, народ всегда виноват, если у него такое правительство».

¹ ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 2819.

² Там же.

³ «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой», с. 8 и 4. Конец фра-

«Что-то будет! Видно, еще далеко не переполпилась чаша испытания русского народа, еще не довольно сильны бедствия и унижения для того, чтобы заставить его говорить, а наше общество чувствует себя так бессильно, что не способно ни на какое единодушное движение. Что-то будет с русской землей? Страшно будущее!..»¹

Это не просто игра словами. Вера Аксакова действительно размышляла о возможном гневе народа. «В настоящую минуту нет человека довольного во всей России. Везде ропот, везде негодование!»² «Вчера затоняли весь народ в церковь присягать»³. О Николае I не сожалеют, радуются, что помер. Все чают перемен.

Иван Аксаков принес слухи, что новый царь, то есть Александр II, кажется, желает камергерам и камер-юнкерам дать народные кафтаны и переименовать в стольников и ключников. В Санкт-Петербурге толкуют уже о введении новой женской одежды, о сарафанах. И славянофилы наивно видят в этом спасение. Жадно ловят славянофилы слухи о сдвигах в политике. Говорят, что и тайная полиция понемногу будет уничтожена. «Все чувствуют, что делается как-то легче... Ф. И. Тютчев прекрасно назвал настоящее время *оттепелью*. Именно так. Но что последует за оттепелью?»⁴

Ожидали лучшего, но зрели и разочарования в новом правительстве. «Замечательно, что уже начинает возни-

зы является вольным переложением хорошо известной в русских дворянских кругах крылатой формулы сардинского посла при русском дворе Жозефа де Местра, который так выразился в 1811 году о законах, изданных Александром I: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает» (см.: Н. С. Ашукян, М. Г. Ашукяна. Крылатые слова. М., «Художественная литература», 1960, с. 271).

¹ «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой», с. 18.

² Там же, с. 8.

³ Там же, с. 62.

⁴ Там же, с. 102.

кать кой-где недовольство новым царствованием», кажется, никаких решительных преобразований нельзя ожидать¹. Кругом царит зло: «Только внутреннее страшное потрясение может искоренить его...»²

Но славянофилы вовсе не хотели этого страшного потрясения. Они лучше, чем тупая администрация, видели кризис в стране, но считали себя призванными как раз предотвратить его. О последствиях Вера Аксакова тут же в дневнике пишет: «И не дай бог, чтобы переворот совершился насильственно! Дай бог, чтобы правительство само поняло и само себя преобразовало»³. Вот единственно чего хотели славянофилы. Более того, они считали восстание невозможным, так как русский народ якобы питает беспредельное доверие к государю, что «в русском человеке вовсе нет безусловной оппозиции власти, нет ненависти к власти...»⁴. В связи со смертью Николая I снова вспомнилось восстание декабристов. И Вера Аксакова, конечно, с голоса всей семьи славянофилов считала: «14 декабря бунтовала разве Россия? Бунтовали только несколько полков... гвардии. Россия была чужда этой несчастной и, конечно, безрассудной попытке»⁵.

В этой связи славянофилы всегда были готовы к услугам новой власти. Они научились этой услужливости раньше русских буржуазных либералов, которые вполне «окрепли» и раскрыли свои «способности» по этой части только после реформы. Хомяков написал даже адрес новому царю, который начинался с восклицания: «Мужайся, царь!» Адрес обсуждался среди славянофилов. Но все же послан не был. Славянофилы выезжали в Петер-

¹ «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой», с. 105.

² Там же, с. 120.

³ Там же, с. 16.

⁴ Там же, с. 67.

⁵ Там же, с. 75.

бург, поближе: авось понадобятся их советы. Но их ко двору не призывали.

Полные критического пафоса и несколько раздражительные передовицы Константина Аксакова в литературной газете «Молва» привели к закрытию газеты в 1857 году, когда в ней была напечатана его статья «Опыт синонимов (Публика — народ)». На излюбленном тезисе: что было до Петра I и что стало после него, — Константин Аксаков выстроил параллели, или «синонимы», которые на деле звучали как настоящие антонимы, то есть исторически сложившиеся сословные антагонизмы. До Петра I не было «публики», но был «народ», публика презирает народ, народ презирает публику, публике всего полтора года лет, а народу годов не сочтешь. И еще: следовали афоризмы: публика говорит по-французски, народ — по-русски, народ чужое усвоит, публика свое обращает в чужое; публика спит, народ давно уже встал и работает; публика работает (большую частью ногами по паркету), народ спит или уже встает опять работать; публика преходяща, народ вечен: «И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике — грязь в золоте, в народе — золото в грязи»¹.

Можно представить себе, как «публика», то есть светское общество, дворянство, верхи, власть, то есть все, что было в золоте и почитало себя вечным, могли отнестись к этой своевольной игре воображения славянофила. А он еще в конце статьи явно намекал на полицейские, помпадурские замашки властей; публика и народ имеют эпитеты: публика у нас — «почтеннейшая», народ — «православный». «Публика, вперед! Народ, назад!» Так подразумевается полиция, какой-нибудь околоточный надзиратель, привыкший орать: «Народ, разойдись!»

¹ «Молва», 1857, № 36.

«Опыт синонимов» — потолок политического радикализма Константина Аксакова. Тут спрессовались его всегдашние размышления о «верхах» и «низах» русского общества и вечное желание перевернуть иерархию по-своему¹.

Известная смелость Константина Аксакова проявилась и в записке «О внутреннем состоянии России», поданной, как уже говорилось, в 1855 году Александру II через графа Д. Н. Блудова².

Цари не любили, когда к ним обращались с советами. А тут верноподданный, словно равный, писал: «Мое дело было сказать тебе истину, как я ее понимаю. Твое дело будет воспользоваться моими словами или оставить их в стороне». Аксаков не побоялся сказать тому, кто хотел быть «во всем пращурю подобным» (не забудем, что первоначально записка предназначалась для Николая I): «При Петре началось то зло, которое есть зло и нашего времени...» Произошел разрыв царя с народом. Появилось презрение ко всему русскому. Результатом нарушений, внесенных Петром I, было и восстание 14 декабря, восстание верхнего, оторванного от народа класса, ибо солдаты, как известно, были обмануты, народ был спокоен³.

Теперь Аксаков хотел помочь юному царю понять Россию. Зачеркивалось все царствование его предшественника Николая I, доказывалось его банкротство.

«Да, опасность для России одна: *если она перестанет быть Россиею*». Подвергались сомнению плоды придуманной политики «официальной народности»: «Современное состояние России представляет «внутренний раз-

¹ Статья была осуждена властями как «пристрастная», служащая «к возбуждению враждебных соотношений между различными сословиями общества» (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 2. № 4303).

² Опубликована лишь в 1881 году в газете «Русь», №№ 26 и 27.

³ «Русь», 1881, № 27, с. 17.

лад», прикрываемый «бессовестной ложью». Правительство, а вместе с ним и верхние классы, отделилось от народа и стало ему чуждым». Народ опасается говорить свое мнение, его никто не спрашивает. «Народ не имеет доверенности к правительству; правительство не имеет доверенности к народу». «Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт; просьбы, подписанные многими или несколькими лицами, у нас теперь не допускаются...» «Правительство и народ не понимают друг друга и отношения их не дружественны». «Угнетательская система» нашего правительства «не позволяет даже хвалить распоряжения начальства»¹.

Но знание России Константином Аксаковым было лишь мнимое. Он тут же выстраивал свои миражи, выдавая за истину свои фантазии: будто когда-то отношения между народом и правительством были «дружественными», будто только «теперь» не допускаются просьбы, «подписанные несколькими лицами». Он доказывал, что «русский народ есть народ не государственный», то есть не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, он не имеет в себе «даже зародыша народного властолюбия». В 862 году он призвал чужих князей господствовать над собой. В 1612 году он побил врагов без царя и бояр. «В русской истории нет ни одного восстания против власти в пользу народных политических прав»². Даже Пугачев выступал от имени Петра III. Народ не хочет править, он хочет жить свободой духа, на основе православия. Всю власть он отдает царю, себе оставляет только право совета, свободу слова.

¹ «Русь», 1881, № 27, с. 18.

² Там же, № 26, с. 12.

Появление записки К. Аксакова в печати сразу же после покушения народовольцев на Александра II, приведшего к смерти царя, когда газеты, и в том числе «Русь», выходили в траурных рамках и были полны сообщениями о расследованиях совершенного «злодеяния», имело для престижа славянофилов особенный смысл. Записка была получена в свое время только что вступившим на трон Александром II, и теперь как бы говорилось: вот на что оказалась способна «северная», «нерусская» столица,— в ней царя убили, давно мы предупреждали власти опереться на Москву, на народ, против нигилистов, интеллигентской верхушки, заразившейся зловредным западным рационализмом и безверием.

Герцен отмечал: несчастье славянофилов было в том, что они встретились в своем народолюбии, с одной стороны, с «официальной народностью» Николая I и, с другой стороны, с подлинной любовью к народу революционеров из дворян и разночинцев. Тут именно славянофилы и выглядели людьми двойственными. Они были либералами в глазах власти и консерваторами в глазах подлинных борцов за народ. Приливы и отливы реакции то повышали ценность их либерализма, то начисто его зачеркивали. Всякий раз они старались своим выпадам придать характер благочестия и всякий раз выступали против революционеров вместе с властью, лишь по-особому оговаривая и обосновывая свою позицию.

И самодержавие иногда это прекрасно понимало, оно и карало и миловало их. В 1849 году Николай I, после прочтения «вопросных» пунктов, предъявленных III Отделением Ивану Аксакову, и его ответов на них, со многими его суждениями согласился; царь наложил резолюцию шефу жандармов А. Ф. Орлову: «Призови, прочти, вразуми и отпусти». А. В. Никитенко записал в дневнике слухи о разговоре Николая I с Самариным по

поводу его «Рижских писем»: «Знаешь ли ты,— сказал царь,— что могла произвести пятая глава твоего сочинения? Новое четырнадцатое декабря». Самарин сделал движение ужаса. «Молчи! Я знаю, что у тебя не было этого намерения. Но ты пустил в народ опасную идею, толкуя, что русские цари со времен Петра Великого действовали только по внушению и под влиянием немцев. Если эта мысль попадет в народ, она произведет ужасные бедствия»¹. Какой доверительный внутрисловный договор о возможных опасностях чувствуется в тоне этого разговора царя с одним из помещиков.

Консерватизм славянофилов всегда тотчас же обнаруживался, как только надо было действовать практически.

Иван Киреевский в середине 40-х годов вразумлял свою сестру Марию Васильевну, которую давно уже преследовала мысль о скорейшем освобождении своих крепостных крестьян: «...в теперешнее время, я думаю, что такая всеобъемлющая перемена произведет только смуты, общее расстройство, быстрое развитие безнравственности и поставит отечество наше в такое положение, от которого сохрани его бог! А что такое свобода без законности? Зависимость от продажного чиновника вместо зависимости от помещика»².

А когда грянул 1848 год и отдалась эхом революция во Франции, Константин Аксаков писал профессору-историку А. Н. Попову: «Отделиться от Запада Европы — вот все, чего нам надо». «Фрак может быть революционерным, а зипун — никогда», «верная порука тишины и спокойствия есть наша народность», а «народное начало есть, по существу своему, антиреволюционное начало, начало консервативное»³. Константин Ак-

¹ См.: А. В. Никитенко. Дневник в трех томах, т. 1. Л., 1955, с. 328—329.

² И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2, с. 242.

³ ИРЛИ, ф. 3, оп. 8, № 16.

саков восхищался царем, его манифестом в связи с французской революцией. Все здесь для него «согласно с достоинством России»¹.

Одно из писем К. Аксакова к Хомякову, по-видимому, в 1848 году — любопытнейший документ, который может охладить симпатии самых ревностных защитников искренности славянофилов. Есть даже что-то циничное в признаниях Аксакова в том, что левая фраза была для него только «грешком», только демагогическим приемом, чтобы снискать себе «заманчивую» популярность. «Фрондерства — отрицательности, — писал Аксаков, — я защищать не буду: если я, увлекаясь, и грешил фрондерством, то в сущности не был никогда ни фрондером, ни отрицательным человеком. Отрицательность заманчива прежде всего потому, что мелка и легка и эффектна, притом, и сверх того, имеет обманчивый вид свободы, будучи лишь рабством, с другой стороны; выворотите ее наизнанку — окажется рабство. Нет, отрицательность всегда была мне противна, и отрицательным человеком я никогда в сущности не был, а грешил в этом иногда лишь, по-видимому, по наружности. Говорю о себе потому, что, пожалуй, иные считают меня человеком отрицательным, но думаю — не Вы; по крайней мере, я так думаю. Вы, я знаю, не отрицательный человек; досадно, когда иные слова Ваши понимаются не в том смысле; в Вашем слове — свобода, а не бунт. Мне кажется, что иногда бывает ошибочное сочувствие Вашему слову со стороны отрицательности, принимающей иногда слово свободы за свое отрицательное слово, с которым будто бы оно сходно, и не чувствующей, что дух слова Вашего и ее слова не тот; а это все дело изменяет»². Во многом объясняет это письмо славянофилов, их тактические ходы.

¹ ИРЛИ, ф. 3, оп. 8, № 16.

² Там же, № 27.

Двойственность славянофилов, их крамольничание и благочестие хорошо демонстрируются еще на одном ярком документе, который был недавно опубликован ленинградским ученым М. И. Гиллельсоном. Речь идет о пролежавшем более ста лет в архиве П. А. Вяземского резком письме к пему Ивана Киреевского, датированном 6 декабря 1855 года¹. Только М. И. Гиллельсон напрасно торопится приравнять его к зальцбруннскому письму Белинского к Гоголю. Немного по тону оно напоминает знаменитое «Письмо», но общая философия совсем другая.

Долго накапливались у Ивана Киреевского обиды на мрачное царствование Николая I, душителя русской литературы и журналистики. В 1855 году князь Вяземский издал в Лозанне на французском языке «Письма русского ветерана 1812 года о восточном вопросе» и в России статью «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время» (после чего он был пожалован в должность товарища министра народного просвещения). В статьях он весьма апологетически оценивал значение царствования Николая I как покровителя наук и искусств, при котором якобы они пережили некоторый «ренессанс» (подлинное слово Вяземского)². Ивана Киреевского возмутила эта грубая, подлая лесть, и он послал Вяземскому свое полное сарказма, обличительное письмо, в котором развенчивал и царя и Вяземского в тонах подлинно гражданской страстности.

Киреевский перечисляет злодеяния Николая I. Закрываются университеты, урезаны программы, учебные заведения все больше приобретают вид и смысл кадет-

¹ Письмо в выборках опубликовано М. И. Гиллельсоном в его монографии о П. А. Вяземском (Л., «Наука», 1969, с. 334—336 и полностью в журнале «Русская литература», 1966, № 4, с. 129—131). Оригинал хранится в ЦГАЛИ, ф. 195, № 2031, лл. 5—10.

² См.: П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VI. СПб., 1881, с. 437.

ских корпусов, иностранные книги почти не впускаются в Россию. Русская литература «совсем раздавлена и уничтожена цензурою неслыханною», когда «имя Гоголя преследовалось как что-то вредное и опасное», когда «Хомякову запрещено не только печатать в России, но даже читать свои произведения друзьям своим», когда «большая часть литераторов под опалою, или запрещением, или под надзором полиции только за то, что они литераторы». Уж не это ли назвать «покровительством, сочувствием просвещению и словесности»? — вопрошает Киреевский. Представляет ценность и та часть письма, где Киреевский разбирает, чего стоили на деле раздутые акты благотворительности Николая I. «Вы приводите в пример Карамзина, Жуковского, Пушкина, Батюшкова, Крылова и Гоголя. Но в Карамзине и Жуковском покойный император любил человека, и это делает честь его сердцу, но не имеет никакого отношения к покровительству словесности. Пушкину он дал много при смерти: но Вы знаете, ценил ли он его при жизни в настоящую цену, хотя Пушкин сделал много для его славы, пожертвовал для нее большею частью своей.

Крылову точно покровительствовал, но за то и одевали Грацией¹. Что сделали для Батюшкова, я не знаю и не умею понять, что можно было для него сделать? (Батюшков с 1822 года находился в больнице для умалишенных.— В. К.) Гоголю царь дал несколько денег, и не для него, а для тех, кто за него просили (то есть по ходатайству А. О. Смирновой-Россет.— В. К.). Когда имя Гоголя и его громкое значение в нашей литературе сделались известными, то даже память о нем преследовалась как вещь, враждебная правительству. Спросите об этом Ивана Тургенева и Ивана Аксакова (пострадавших за статьи-некрологи о Гоголе.— В. К.). Нет,

¹ Не совсем ясно, на что намекает И. Киреевский, если это не прония.

покойный император никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком в его глазах было однозначно»¹.

Навсегда больно засела в сознании Киреевского история с запрещением «Европейца», положившая начало журналистским бедам: «Особенно журнальная деятельность — этот необходимый проводник между ученостью немногих и общею образованностью — была совершенно задушена не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще более тем, что они отданы были в монополию трем-четырем спекулянтам».

Но обличительные тирады против Николая I не могут заглушить аккомпанирующей им чисто славянофильской нотки в письме Киреевского. Все время чувствуется, что это гнев славянофила, пекущегося о нуждах своего особенного «русского мирозерцания», а именно его-то и не разрешал проповедовать Николай I. Тут и гнев на Вяземского, который не помогает славянофилам получить разрешение на издание «Русской беседы» (прошение уже подано), а «западнические» журналы, в частности «Русское слово», разрешает. Название журнала Каткова до обидного перехватывало у славянофилов инициативу и право самим представлять все русское, самую «русскость» в мышлении и общественных понятиях.

«Вас просили ходатайствовать о дозволении издавать в Москве журнал, который, как Вы знаете, был бы весь проникнут убеждениями русскими и православными, который более других имел бы силы и средства развивать те начала просвещения и образованности, которые до сих пор были у нас задавлены понятиями западными, который, может быть, один мог иметь достаточно сил, чтобы совершить это важное и трудное дело...»

¹ Все цитаты даем по книге М. И. Гиллельсона о П. А. Вяземском, с. 334—336.

В результате: «Мнению русскому, живительному, необходимому для правильного здорового развития всего русского просвещения не только негде было высказаться, но даже негде было образоваться».

Вот источник всех претензий. Это обида чисто славянофильская. Не отсутствие гражданственности в обычном смысле слова и необходимость жить с кляпом во рту, а отсутствие возможностей говорить эту «свою правду» — главная печаль Киреевского.

Киреевский обвиняет Вяземского не как прислужника царского режима, а как всесильное, влиятельное лицо, не потравившее славянофильским начинаниям, стремлениям учительствовать в русском обществе. Причем «антизападническая» тема проходит лейтмотивом в этих обидах. «Вы, как слышно, отказались ходатайствовать за этот русский и православный журнал по той причине, что уже прежде ходатайствовали за другие журналы (то есть за «Русский вестник» Каткова.— В. К.), которые будут издаваться в западных понятиях».

Мы еще и еще раз убеждаемся, как свободно у славянофилов крамола переходила в благочестие. Как трудно определить однозначно их общественные позиции, как они всегда противоречивы. Никаких аналогий с демократами они не выдерживают, хотя свой вклад в борьбу с произволом вносили и в этом по-своему были искренни.

ЗАВЕЩАНИЕ И НАСЛЕДНИКИ

Славянофилы претендовали на свою особую любовь к России. Она по их понятиям отличалась от официальной любви, внушавшейся властями. Они были критически настроены к некоторым сторонам русской общественной и государственной жизни, вызвали на себя гонения и иногда сливались с оппозицией. На поверку же оказывалось, что славянофилы ничего разрушать не хотели, они только хотели кое-что подправить в существующем порядке вещей.

То, что славянофилы — дворянские либералы, выступившие на чрезвычайно ранней стадии русской общественной жизни, накладывает особенную печать на все стороны их деятельности и «облагораживает» их. Но это была все же первая волна половинчатого либерализма, во многом искреннего в своих заблуждениях, но никогда не «ошибавшегося» в своей неизменно отрицательной оценке реализма в литературе, материализма в философии, демократизма и революционности в политической деятельности.

В отличие от других романтиков в литературе и в общественной жизни, например, от народников, славянофилы никогда не были ни стадией, ни одной из ветвей прогрессивного движения. Их деятельность всегда имела охранительное значение.

Славянофилы вслед за Чаадаевым заговорили о роли религии в истории народов, но тут же извратили эту идею тем, что свели ее к апологетике православия в ущерб другим религиям. Они чуть ли не первыми заговорили о важности общины в русской жизни, но тут же свели ее роль к задачам сохранения консервативных начал, противостоянию всему новому. Вслед за шеллингианцами, «любомудрами», они заговорили о необходимости определения исторической самобытности русского народа среди других народов, но тут же свели эту идею к отгораживанию России от Европы, к проповеди особой миссии России как спасительницы от революций.

Их особая любовь к России в том и выражалась, что они никого из других к этой любви не допускали, ни с кем ее не делили, хотели сами, не впадая в официальный охранительный тон и в революционность, обосновать ее философски, используя самые модные теории, которыми сами искренно поначалу увлекались. Но искони славянофильство было антидекабристским течением, антидемократическим, антиреалистическим. Только в отдельных случаях им первым удавалось заметить какие-то черты в творчестве Пушкина (И. Киреевский), Гоголя (К. Аксаков), но в целом эти оценки не охватывали всего существа дела, методологически оспаривались уже тогда самыми глубокими и трезвыми критиками и писателями. Отдельные черты в литературе были усмотрены славянофилами первыми и, конечно, с их собственных позиций. Ведь часто бывает так, что враждебное направление или идейный противник первыми могут бросить нужный термин (Булгарин, например, придумал термин «натуральная школа»), подметить в явлении какую-нибудь черту, которую сами участники этого явления «изнутри» еще не видят или видят по-другому (реакционер К. Леонтьев кое-что верно подметил в романах Л. Толстого). Следовательно, речь может

идти не о прогрессивности тех или иных, хотя бы и «отдельных» сторон в деятельности славянофилов — это значило бы поставить их в ряд с теми, с которыми они боролись, — а о правильности отдельных наблюдений над явлениями, которые в реальности существовали. А это совсем другое дело. К сожалению, у нас некоторые исследователи в суждениях о славянофилах путают эти два явления.

Соприкосновения славянофилов с разными течениями русского романтизма показывают, что для них все было только средством, чтобы утвердить свою реакционную доктрину. Творчество славянофилов во всех отношениях крайне слабо, и большой литературой оно не стало. Портили дело голая публицистичность, внутренний риторический холод в проповеди того, в чем уверить общество нельзя. Внешне страстный пафос хомяковских стихов не может скрыть нищеты проповедуемой философии. Их произведения не являются «школой» в русской литературе. Их творчество, разумеется, вписывается в сложную литературную ситуацию 30—50-х годов. Из песни слова не выкинешь. Но оно лишь негативно помогает понять, в борьбе с какими именно их тенденциями, прецедентами было наконец найдено другими писателями рациональное и высокохудожественное решение проблем. Ни темы греческого восстания, ни русского исторического прошлого, ни гражданского негодования, ни сатиры на чиновничество, ни крестьянская тема не нашли у славянофилов глубокого воплощения. По-настоящему эти темы звучат в творчестве декабристов, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и писателей «натуральной школы». За славянофилами не числится ни одной темы, которую можно было бы всерьез поставить как их личный вклад в «большую» историю русской литературы. Все их мелкие «вклады» вспоминаются лишь в свете больших художественных открытий, которые были сделаны другими писателями.

Попытки славянофилов собрать свою «школу» из «своих» и «чужих» писателей провалились. Отдельные переключки Герцена, Чернышевского с славянофилами (по вопросу об общине) не характеризуют их связей с славянофилами по существу. Совпадения идей славянофилов с идеями «почвенника» Достоевского также не решают всей проблемы, так как Достоевский на девять десятых связан с «натуральной школой» и всей русской литературой критического реализма.

Не лишен интереса и вопрос о ближайших наследниках славянофильства.

Ближайшими их наследниками были в начале 50-х годов «младославянофилы», «молодая» редакция «Москвитянина» (Ап. Григорьев, Т. Филиппов и др.). Как эти критики поддерживали «отцов», видно из их статей об Островском, писателе «замоскворецкой» патриархальности.

Учение Григорьева об «органической критике», о «живорожденности» художественных образов восходит к некоторым шеллингианским положениям «любомудров» и славянофилов. Но это учение становилось бесплодным, как только оно превращалось в «чистое искусство». Теория Григорьева во многом восходила даже не к славянофилам, а к тому же Белинскому эпохи «Литературных мечтаний». Сужали «младославянофилы» и учение о народной субстанции — для них представителем ее был уже не народ, не мужик, а скорее, благонравный купец. В то же время у Ап. Григорьева не было вражды к Западу, как она была у «отцов».

«Младославянофильское» движение вскоре распалось и также не породило своей художественной «школы».

«Почвенники» (братья Ф. М. и М. М. Достоевские, Н. Н. Страхов) старались примирить крайности славянофильства и западничества. Достоевский призывал рус-

ских западников, «скитальцев», вернуться к родной «почве». В проповеди христианского единения русских людей, смирения, всечеловеческой миссии России — слышится голос Хомякова.

Вопрос о Достоевском и славянофильстве — сложный, заслуживающий специального исследования. Достоевский и подсмеивается над чудачествами старых славянофилов, а с годами все более и более начинает ценить их доктрины и их пророчества. Связь тут была глубокая. Радовала его и книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», обращение этого бывшего фурьериста, соратника-петрашевца в реакционера и панслависта. Но во всех случаях славянофильствование только усугубляло реакционные черты самого Достоевского. Важно выяснить все оттенки в позиции Достоевского, в его отношениях с другими «почвенниками».

Во многом идеи «почвенничества» внушил Достоевскому критик Н. Н. Страхов. Он любил о себе говорить как об одном из «трезвых между угорелыми». Отстаивая идеи славянофильства, он живо интересовался борьбой с Западом, с «нигилизмом» в русской литературе, о чем написал специальные книги. Достоевский дорожил мыслью, высказанной Страховым, что многие русские писатели, начиная в юности с увлечения «чужим», кончали возвращением к «своему». Это утверждение, конечно, чисто «почвенническое». Совсем не так соотносилось это «свое» и «чужое» в национальных чувствах русских писателей. И вообще оставались неуточненными сами эти понятия. Страхов не отрицал заслуг европейского просвещения, исторической обусловленности перемен в России, полемизировал с Иваном Аксаковым относительно Ломоносова и Пушкина, вовсе не безоглядно подражавших всему иноземному (ранняя точка зрения Ивана Аксакова на Пушкина, в 1880 году измененная). Но как и славянофилы, Страхов отвлеченно толковал об «органичности» поэзии, «целостно-

сти» творчества и мирозерцания, упрекая, например, Некрасова, Щедрина в отсутствии у них этих качеств¹.

Позиция же Достоевского, как показывают новейшие исследования, не сводилась к «почвенничеству», она включала и критику «почвы».

Наиболее реакционными результатами влияния славянофильства были панславистские теории Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа» (1871) и Константина Леонтьева, автора сочинения «Восток, Россия — и славянство» (1885—1886). Славянофильские теории о русской обособленности превратились у Данилевского в учение о борьбе культурно-исторических типов, или цивилизаций, из которых одна хочет поглотить другую, точно так же, как происходит борьба видов в животной природе. Разумеется, наиболее выигрышным типом оказывался «славянский» тип и главный представитель его — русский народ. Этому типу и предстоит победа в ближайшем будущем. Совершенно очевиден шовинистический и националистический характер построений Данилевского. Историческая «миссия» России, даже в отличие от славянофилов, у Данилевского уже открыто совпадала с деятельностью государственно-официального аппарата России, его колонизаторской панславистской политикой. Так до логического конца развились тенденции славянофильства, умевшего примирять свои притязания с деятельностью властей, не отказывавшегося от мысли, чтобы официальная Россия возглавляла борьбу за объединение славян.

Повторяя вслед за славянофилами выпады против революционно-освободительного движения, «западного» влияния, призывая к возрождению византийских культурных начал, К. Леонтьев требовал усиления монархической власти в России, церкви (сам жил на Афоне.

¹ См. статью: А. Гуральник. Н. Н. Страхов — литературный критик. — «Вопросы литературы», 1972, № 7.

в Оптиной пустыне, в Троице-Сергиевском монастыре). Неизменно Леонтьев отвергал реализм в литературе, гоголевскую школу, романы Тургенева. Ему недостаточными «христианами» казались даже Достоевский и Толстой.

И. А. Бердяев в статье «Философская истина и интеллигентская правда» (сб. «Вехи», 1909), отрекаясь от «просветительской догматики» и материализма, вспоминал через голову «позитивистов» и «материалистов» о славянофилах: «Зачатки новой философии, преодолевающие европейский рационализм на почве высшего сознания, можно найти уже у Хомякова»¹. Славянофилов вспоминали и поднимали на щит в эпоху ренегатства русской интеллигенции, поворота ее после революции 1905 года к идеализму и поповщине.

В русской литературе славянофильство было консервативно-романтическим течением, основанным на утопии, враждебным реалистическому направлению и подлинным его ценностям. Реакционной была, начиная с 40-х годов, и славянофильская литературная критика.

Малопродуктивными оказались и попытки символистов в начале XX века опереться на славянофилов в своем неприязненном отношении к Западу, Петербургу, в проповеди «соборного» искусства (В. Иванов).

Мы говорили в начале работы, что некоторые современные западные работы о славянофилах носят апологетический характер. Откровенно просвечивает в них желание вести от славянофилов истоки русской оригинальной философской мысли вообще или какой-либо из ее особенных ветвей, например, богословия. Так, Н. О. Лосский, известный в России неокантианец — «интуитивист», после революции подвизавшийся в США и Франции, в своем труде по истории русской философии XIX—

¹ «Вехи», изд. 2-е. Франкфурт-на-Майне, 1967, с. 18.

XX веков рассматривает славянофилов как великих русских мыслителей.

Некогда сподвижник его на философском поприще «веховец» С. Л. Франк в книге «Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века» (США, 1965) называет славянофилов первыми представителями творческой религиозной мысли в России¹. Тут, конечно, всего важнее слово «творческая». Превозносит Хомякова и Ивана Киреевского как «христианских философов» В. В. Зеньковский, профессор богословия Православного института в Париже, в своей «Истории русской философии» (Париж, 1948—1950): «Начиная с Сковороды, через старших славянофилов, через Соловьева — вплоть до наших дней, проблема соотношения разума и веры, свободного исследования и церковной традиции занимала и занимает наши умы»².

Сложен ход мысли философов-идеалистов и богословов, ученость у них большая, но как бедны реальным содержанием их категории и построения. За что, например, С. Л. Франк хвалит Ив. Киреевского и Хомякова? За проповедь «живого», истекающего «из опыта сердца знания» и основанной на нем «духовной целостности» идеалов, которые они нашли у восточных отцов церкви, за создание учения о церкви как «свободнолюбивом соборном организме», которому только и открывается «высшая правда христианства». Все это мы уже слышали от самих славянофилов.

Западные ученые хватаются за самые слабые места их учения и ведут от них свою родословную. Мы никогда не побоимся назвать эти построения схоластикой, какой бы ученостью они ни обставлялись.

Не случайно славянофилы, несмотря на постоянное

¹ С. Л. Франк. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Вашингтон — Нью-Йорк, 1965, с. 8.

² В. В. Зеньковский. История русской философии, т. 2. Париж, 1950, с. 464.

возрождение поклонников и продолжателей, сами себя ощущали словно в пустыне. А их противники на глазах приобретали все больший и больший успех. Известны часто цитируемые слова Ивана Аксакова в письме к родным из Екатеринослава от 9 октября 1856 года: «Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю: в отдаленных краях России только теперь еще проникает это влияние и увеличивает число прозелитов. Тут нет ничего странного. Всякое резкое отрицание нравится молодости, всякое негодование, всякое требование простора, правды принимается с восторгом там, где сплошная мерзость, гнет, рабство, подлость грозят поглотить человека, осадить, убить в нем все человеческое. «Мы Белинскому обязаны своим спасением», — говорят мне везде молодые честные люди в провинциях... И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, — ищите таковых в провинции между последователями Белинского. О славянофилах здесь в провинции и слухом не слышать, а если и слышать, так от людей, враждебных направлению»¹.

Вторил ему и Самарин в письме к княгине Е. А. Черкасской в 1861 году: «Странная судьба русской земли. Целые поколения кормятся и вдохновляются Белинским, а Хомякова узнали и оценили пять-шесть человек»².

Но время проходило, объективность в суждениях утрачивалась. И с новой энергией Иван Аксаков и Самарин призывали идти за собой, активизировать деятель-

¹ «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 3, с. 290, 291.

² ЛБ, ф. 265, оп. 33, ед. хр. 2, л. 35.

ность. Они верили, что их забвение — это ошибка истории, недоразумение и дело их должно победить. Но история еще и еще раз выносила свой суровый приговор. Да и «не всякое резкое отрицание» подхватывалось, а только подлинно прогрессивное, не просто нужны были «честные следователи», а полная перемена законов. Нужна была подлинная одержимость в достижении демократических свобод, а не пугливая забота о подновлении прогнившего государственного строя.

Не случайно в самых обширных западных работах почти полностью обходится молчанием художественно-поэтическое творчество славянофилов. Оно настолько слабо, что почти не принимается в расчет. В лучшем случае служит только простой иллюстрацией к их идеям.

И у нас в Советском Союзе еще не было ни одной книги о славянофилах как о целой группе писателей, занимающих определенное место в литературе, о которых постоянно так или иначе приходится говорить и сегодня и даже переиздавать их отдельные произведения. Эта часть их трудов сохраняет только историко-литературный интерес. Наслаждаться тут почти нечем. И все же лучше их знать, чем не знать...

Голос их был негромок, художественное достоинство их произведений в целом весьма незначительно. Драматургия слаба, а проза вовсе не получалась. Причина лежала в консерватизме, идеализаторском характере их программы. Она могла получить только декларативно-лирическое выражение, но не развертывалась событийно, терпела полный провал под напором логики фактов, тех жизненных связей и опосредований, на которых строится эпос и драма. Славянофилы брались за решение коренных вопросов русской жизни, отправлялись иногда от здравых начал и порывов, прибегали к элементам великих философских систем, но строили из первосортного материала ложное здание, застревали в сфере иллюзий, бесплодной отвлеченности, мешавшей подлин-

ному реалистическому познанию русской действительности и освободительному движению.

Пора заманчивой их неизученности, кажется, проходит, все предстает в истинном свете. И это помогает проникнуться еще большей любовью к тем подлинным эстетическим и гуманистическим ценностям, которые создавала современная славянофилам великая русская литература, расцветавшая на путях подлинной правды, народолюбия и революционного дерзания.

Но суровые общие выводы относительно «классического» славянофильства 40—50-х годов не должны зачеркивать отдельные удачные произведения Хомякова, братьев Аксаковых, которые имеют определенную художественную ценность и способны приносить эстетическое наслаждение современному читателю.

Если не заслонять частностями целого, не искать зацепок для «пересмотра» вопроса о прогрессивности славянофильства, то, как мы видели, не лишено смысла и значения всестороннее изучение его как исторического явления в русском идейном движении XIX века, имевшего свои разветвления и способность к самовозрождению. На это были определенные социально-общественные причины, поводы в самой идеологической борьбе. Живучесть славянофильства тем и объясняется, что всегда находились социальные силы, которые были заинтересованы в возрождении его идей.

Но попытки глобального утверждения славянофильской доктрины, в любой форме, всегда оказывались мертворожденными.

Этой живучести славянофильства все же надо знать истинную цену, как и незавершенности споров о нем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Незавершенные споры	5
Славянофилы как они есть	18
Вероучение	53
В романтическом причете	78
Патетическая симфония «Русь!»	137
Гримасы сатиры	168
Стихи как стихи	186
Чаяния «русской художественной школы»	198
Ненаши	234
Крамольники благочестивые	258
Завещание и наследники	277

129742

Василий Иванович
Кулешов

СЛАВЯНОФИЛЫ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Редактор *С. Лалкина*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
В. Пивацкико
Корректор
И. Замятина

Сдано в набор 3.XII 1975 г. Подписано в печать 14.VI 1976 г. А 12703.
Бум. типогр. № 1. Формат 70×108¹/₃₂. 9 печ. л. 12,6 усл.-печ. л.
13,471 уч.-изд. л. Заказ 3844 Тираж 10 000 экз. Цена 59 коп.
Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-
Басманная, 19. Тип. изд-ва «Коммунар», Тула, ф. Энгельса, 150.



59 коп.